

Н. Воронович

ВЕЧЕРНИЙ
ЗВОН



Издание автора.

1955

Нью Иорк

Н. ВОРОНОВИЧ

Е. Византий

Вечерний звон

ОЧЕРКИ ПРОШЛОГО.

Том I

1891 - 1917

Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом.
И как я, с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний раз.
Уже не зресть мне светлых дней
Весны обманчивой моей!
И сколько нет теперь в живых
Тогда веселых, молодых;
И крепок их могильный сон:
Не слышен им вечерний звон....

И. Козлов

НЬЮ ИОРК

1955

ПРЕДИСЛОВИЕ.

В этой книге я описал все, что видел и пережил в России с 1891-го года, т. е. с тех пор, как начал помнить себя и сознательно относиться к виденному.

Книга эта повествует о дореволюционном русском быте, который многие называют „потонувшим миром”. Мир этот действительно потонул и никогда не воскреснет. Какие бы события не суждено пережить грядущим поколениям, то красивое и плохое, что пережили мы, уцелевшие обломки этого „потонувшего мира”, никогда больше не повторится. Историки, которые займутся разбором канувших в вечность событий, вынесут более беспристрастный приговор сошедшим со сцены **вождям**, государственным и общественным деятелям. Мы, современники такими беспристрастными судьями быть не можем. Ибо мы чересчур связаны личными симпатиями или антипатиями к отдельным лицам и событиям, о которых мы вспоминаем. И все-же мне кажется, что наши воспоминания о „потонувшем мире” являются полезными, и будущие историки воспользуются некоторыми из них для вынесения своего беспристрастного приговора.

Описываемые мною эпизоды дореволюционной эпохи многим, более молодым читателям — мало или совершенно неизвестны. И мне будет приятно, если мой труд обратит на себя внимание этих читателей.

Иностранцы привыкли считать дореволюционную Россию государством отсталым и бесправным, а бывших подданных Российской империи — людьми несчастными и угнетенными. Многие русские писатели и публицисты немало потрудились, чтобы помочь иностранцам составить себе такое представление о нашей родине. Поэтому нет ничего удивительного в том, что теперь ино-

странные писатели, государственные и политические деятели — считают коммунистический режим законным наследником русского царизма, а советский империализм — естественным продолжением старой русской политики. У меня нет ни сил, ни таланта переубедить иностранцев. Но я считаю своим долгом рассказать правду о дореволюционном русском быте воспитанному на советской литературе поколению, которое также неправильно представляет себе этот „потонувший мир”.

В дореволюционном быту были светлые и темные стороны. Нельзя защищать темные стороны этого быта. Но нельзя также, основываясь на темных сторонах, огулом хулигать весь этот быт и перекрашивать белое в черное.

Мне пришлось наблюдать русскую действительность с разных сторон. Камер-паж императрицы и гвардейский офицер видел ее с одной стороны. Кочегар паровоза и солдат Маньчурской армии — с другой. В своих воспоминаниях я старался изобразить эту действительность такой, какой я ее видел и воспряял тогда.

Изменить запечатлевшийся на снимке образ, затемнив светлое и придав светлый тон черному, без ретуши нельзя. **Мои снимки я умышленно не ретуширую. Такими я и предлагаю их читателю.**

Н. Воронович

Нью Иорк, ноябрь 1951 — май 1952 г.г.

1. ГАЛЕРНАЯ УЛИЦА.

Переливающееся на солнце разными оттенками бирюзовое море и золотой песчаный пляж Гурзуфа были первыми, запечатлевшимися в моей памяти, воспоминаниями раннего детства. С тех пор я на всю жизнь страстно полюбил море и моими лучшими удовольствиями были всегда морские путешествия и прогулки по берегу моря. Я любил спокойное море и ласковый шум прибоя, когда длинные, но невысокие волны подкатывались к берегу и разливались по песку. Но еще больше я любил бурное море. Часами просиживал я у окна, с замиранием сердца наблюдая выроставшие вдруг огромные валы, с которых ветер срывал их белые шапки и которые с такой силой и шумом обрушивались на прибрежные скалы, что вся наша дача дрожала.

Черное море было первым, которое я увидел. Мне было четыре года, когда мама привезла меня и мою трехлетнюю сестру в Гурзуф, где мы прожили **всю** осень 1890 года. Конечно, я почти ничего не помню о нашей жизни в Гурзуфе, но пляж, на котором мы **целыми** днями играли, собирая ракушки и разноцветные, отшлифованные прибоем камушки, и чудное море, светло-голубое в ясную погоду и темно-лиловое в бурю — запомнилось мне на всю жизнь.

Помню я и второе море, которое увидел через год после Гурзуфа. Это было Балтийское море в Гапсале, где наша семья провела несколько летних месяцев. Но Балтийское море я вспоминаю более тусклым и не таким чарующим и приветливым, как Черное. Его серовато-свинцовые воды и более скучое северное солнце не оставили такого яркого впечатления, какое произвело на меня Черное море. А так как от Ревеля до Гапсала маленький пароход, на котором мы ехали, попал в довольно сильный шторм, то суровость и неприветливость Балтийского моря еще более запечатлелись в моей памяти. Как сейчас помню, что мы с отцом были единственными

пассажирами, оставшимися в кают-компании. Через круглое окно этой каюты я с восхищением наблюдал казавшиеся мне тогда огромными волны, хлеставшие в борт нашего утлого суденышка и порою заливавшие окна.

Позднее, через два года, я снова пережил бурю на море, на этот раз гораздо более сильную, чем в Балтийском море. Я ехал с дедом из Марселя в Алжир. Пароход отходил вечером. Я до самой темноты находился на палубе и с восхищением смотрел на отдалявшиеся высокие берега Франции, на показавшиеся, когда мы вышли в открытое море, покрытые снегом и розовые от заходящего солнца, вершины Альп и на безбрежный простор такого-же синего, как и Черное, Средиземного моря. Дед с трудом увел меня в каюту, где я сразу заснул, как убитый. Качка началась ночью, но я ее не заметил и только проснувшись утром почувствовал, что в нашей маленькой каюте нельзя ни сидеть, ни стоять. Графин с водой выскочил из деревянного ящика на ночном столике и упал на пол. Дед, старый моряк, с беспокойством следил за мной и очень обрадовался, увидев, что я не страдаю морской болезнью. Но, несмотря на мои просьбы, он отказался идти со мной на палубу, которую все время заливали волны, гораздо большие виденных мною при переходе из Ревеля в Гапсалль. Мы с дедом были о единственными пассажирами, вышедшими к завтраку в кают-компанию. Дед, сидевший рядом с капитаном, гордился мной и говорил, что я буду хорошим моряком.

Увы — моя мечта стать моряком — никогда не исполнилась. И хотя мне на моем веку пришлось многое проплавать, изъездить вдоль и попоперек Черное море, три раза пересечь Средиземное море — от Марселя до Алжира, от Алжира до Александрии и от Константинополя до Марселя, Атлантический и Индийский океаны, но все эти морские путешествия я совершил простым пассажиром, а не бравым моряком, каким мне так хотелось быть...

Свое раннее детство я провел в Петербурге и Нижнем Новгороде.

В Петербурге у моего отца был собственный четырехэтажный дом на Галерной улице, недалеко от Сената, в домовую церковь которого мы ходили каждый праздник. Наша квартира находилась во втором этаже, в дру-

гих этажах жили квартиранты, какие-то важные, но бездетьные генералы. Кроме нас троих — меня и двух моих сестер — в доме детей не было. Даже у нашего старшего дворника Карпа и швейцара Михеича были только взрослые племянники. Поэтому нас в доме все баловали, и не только Михеич, с которым мы каждый день встречались, но и важные жильцы нашего дома всегда останавливали нас, когда мы с нашей гувернанткой — мадам Жюли — выходили на прогулку, шутили и разговаривали с нами.

Галерная улица была очень чистой и спокойной. Не только ломовые извозчики, но и простые „ваньки“ (легковые) редко когда показывались на этой улице. Обыватели Галерной, как и жильцы нашего дома, были все важные генералы, сенаторы, сенатские и синодские чиновники. Почти перед каждым домом, когда мы по утрам выходили на прогулку, стояли кареты или собственные сани, поджидавшие своих господ. У нас также была своя карета, в которую запрягались в английскую упряж две небольших „вятки“ — Полка и Вастька. Я с детства любил животных, а наших Полку и Вастьку прямо обожал. Я готов был часами стоять около них, гладить их мягкую шерсть и обнимать их теплые, так вкусно пахнувшие сеном, морды. Мадам Жюли боялась лошадей и говорила, что они кусаются и брыкаются, но я ей не верил.

Наша мадам Жюли была пожилой женщиной. Молодой барышней она приехала в Россию и поступила гувернанткой к какому-то сенатору, в доме которого прожила 15 лет; и уже в зрелых летах вышла замуж за сенатского чиновника Герасима Ивановича, имя которого никак не могла выговорить и называла „Керосином Ивановичем“. Мадам Жюли жила в доме своего мужа на Кронверкском проспекте, к нам приходила по утрам, гуляя с нами, завтракала, а обедать и ночевать уходила домой. Один раз мы были у нее в гостях и познакомились с „Керосином Ивановичем“, который нам очень понравился. Но больше всего мне понравились его канарейки, которых было около двадцати и которые жили в трех больших клетках, весело чирикая и заливаясь на весь домик.

Каждое утро я и обе мои маленькие сестры отправлялись с мадам Жюли на прогулку. Пройдя сенатскую арку, мы выходили на площадь, сворачивали к Исаакиев-

скому собору, потом на Английскую набережную, по которой и возвращались домой. Дома нас встречал швейцар Михеич, мой большой друг, любивший говорить всяческими прибаутками и пословицами.. От него я научился целому ряду прибауток, а одна из его пословиц — „ешь пирог с грибами, а держи язык за зубами” — мне так понравилась, что я постоянно ее повторял.

В Петербурге у нас было много родственников, часто приезжавших к нам и к которым в гости ездила мама. Иногда она брала с собой меня и моих сестер. Я очень любил ездить с мамой в нашей карете, но посещение родственников особого удовольствия мне не доставляло. Все они были почтенными старишками и старушками. Троє из них — дядя Стеценко, дядя Керн и дядя Величко — были адмиралами и жили в больших казенных квартирах. В увешанных картинами и зеркалами гостинных нужно было сидеть чинно, не болтать ногами, не вступать в разговоры и только отвечать на вопросы дядюшек и тетушек. Но я терпеливо переносил эти скучные визиты только для того, чтобы иметь возможность прокатиться в карете и лишний раз полюбоваться Попкой и Васькой.

Часто и отец брал меня с собой, когда ездил по своим делам. Но, к моему большому сожалению, он очень редко ездил в карете, предоставив ее всецело маме. Поэтому мы с ним ездили, большей частью, на извозчиках.

Однажды мы ехали на таком извозчике по Невскому. Недалеко от Аничкова дворца извозчик наш подобрал возки и снял свою клеенчатую шляпу. Отец снял с меня мою меховую шапочку и сказал: „поклонись, едет Царь”. И я увидел приближавшиеся нам навстречу сани, запряженные двумя, показавшимися мне, по сравнению с нашими Попкой и Васькой, огромными лошадьми, которыми правил толстый кучер с медалями на груди. В санях сидели двое военных. Один — плотный с большой рыжеватой бородой, второй — стройный офицер с маленькой бородкой. Это были — Александр Третий и наследник цесаревич, будущий император Николай Второй. За первыми санями ехали вторые, на запятках которых стоял бравый казак. В них сидели миловидная дама и девочка лет 10-ти с длинными распущенными волосами. Отец сказал мне, что дама — это императрица Мария Федоровна, а девочка — ее дочь Ольга Александровна.

Я с любопытством рассматривал сани, великанов-лошадей, толстого кучера и сидевших в санях. Я был в восторге, когда на мой низкий поклон государь и наследник ответили, приложив руки к козырькам своих фуражек, а государыня с улыбкой кивнула мне головой. Вернувшись домой я, конечно, тотчас-же рассказал Михеичу, что видел царя и царицу, и что царские лошади гораздо большие Попки и Васьки, но что наши лошадки гораздо красивее царских.

Это был первый и последний раз, что я видел императора Александра Третьего. Через два года, из окна квартиры одного из моих дядюшек, я видел его торжественные похороны.

2. НИЖНИЙ НОВГОРОД.

Несколько месяцев в году наша семья проводила в Нижнем Новгороде, где мой дед (отец моей матери) — Николай Михайлович Баранов — был губернатором.

Мы жили во дворце. Так назывался губернаторский дом, принадлежавший дворцовому ведомству. Дворец находился в Кремле, на горе, у подножья которой Ока впадала в Волгу. Против дворца, на площади, возвышался старинный кафедральный собор с колокольней, очень похожей на колокольню Ивана Великого в Москве.

Из окон дворца, особенно из угловой бабушкиной гостинной, открывался великолепный вид на обе реки и на далекое Заволжье. Под горой находились пристани пароходных обществ — Зевеке, Самолета, Кавказ и Меркурия, Купеческого, братьев Каменских и др. Десятки красивых белых пассажирских пароходов стояли на причалах у этих пристаней. Из всех пароходов отличались своим оригинальным видом Зевековские — с большим колесом на корме. Они были построены по американскому типу и назывались именами американских рек — Миссури, Миссисипи, Ориноко и др. Но мне нравились больше Самолетские, называвшиеся именами русских писателей. Кроме пассажирских, вниз и вверх по Волге все время сновали буксируемые пароходы и сотни барж и белян. Я нигде больше не видел такой оживленной реки, как Волга у Нижнего Новгорода.

Никогда не забуду грозного зрелища ледохода на Волге, которое я один раз наблюдал из окон дворца. Волга

вскрылася ночью. Лед трескался с шумом, напоминавшим пущечную пальбу. Рано утром все обитатели дворца собирались у окон и с замиранием сердца смотрели, как огромные льдины взгромождались одна на другую, образовывая высокие заторы. Через некоторое время, под напором новых льдин, заторы ломались и остановленная ими масса льда двигалася дальше, сокрушая и сметая все попадавшееся ей на пути. Среди льдин проносились оторванные от причалов пристани, баржи и недостаточно укрытые в затонах пароходы. По реке неслись крыши домов, стоги сена и сложенные близ берега бревна и штабели дров. Так как ледоход и, особенно, образовывавшиеся заторы могли причинить еще большие бедствия, то к берегу вызывались войска и пожарные. И часто раздавались взрывы, от которых дрожали все стекла.

Губернаторский дворец представлял собой длинный трех-этажный дом. Внизу был вестибюль, в котором, кроме внушительного вида швейцара в придворной ливрее, постоянно дежурили городовой и пожарный. В том-же этаже находилась огромная квартира деда, разделенная столовой на две половины. В правой были кабинет, приемная и комнаты деда. В левой — две гостиных, будуар и спальная бабушки.

Всю среднюю часть второго этажа занимал двухсветный парадный зал с хорами. В этом зале происходили торжественные приемы и балы, которые, по положению, два раза в год губернатор давал дворянству и купечеству. На Пасху в этом зале накрывались длинные столы для разговения, на которое, после пасхальной заутрени в соборе, приглашались архиерей, соборное духовенство, офицеры гарнизона, чиновники и все именитые граждане. Несколько раз я смотрел с хоров на эти балы. Кавалеры во фраках и мундирах с эполетами и дамы в пышных платьях казались с хоров такими маленьными и напоминали заводных кукол. Один раз я также разговаривался в этом зале, но до конца не досидел; меня за неприличное поведение из зала удалили. Я был очень обижен, так как чувствовал себя несправедливо наказанным. Меня особенно обидело то, что настоящего виновного из зала не выгнали.

Вот как это произошло. Предводителем дворянства был камергер Шаблыкин, толстый господин, задыхавшийся в своем, расшитом тяжелым золотом, камергерском мундире. Он сидел рядом с архиереем — преосвященным епископом Макарием, с которым дед не ладил и который

вскоре был переведен из Нижнего в Вятку. („Макарий за сто одну взяtkу — сослан в Вятку”, говорили после этого перевода местные остряки). Желая усlужить архиерею, Шаблыкин начал снимать скорлупу с освященного яйца. Но своими толстыми пальцами камергер раздавил яйцо и раскрошил желток. Все начали смеяться, а с соседнего стола раздалось: „цып, цып, цып”! Мне стало смешно, что архиерей кормят, как цыпленка, и я машинально также повторил: „цып, цып”. Вот за это меня и отправили разговляться в детскую столовую, а тот господин, который первый крикнул „цып, цып”, остался сидеть с взрослыми.

В остальной части второго этажа находились постоянно запертые „парадные комнаты”, открывавшиеся только в случае приезда в Нижний государя или особ императорской фамилии. Там-же были комнаты моих трех дядей, сыновей деда, и их гувернера. Старший из дядей — Алексей Николаевич — окончил военно-медицинскую академию и стал военным врачом. Младший — Владимир Николаевич — по окончании Пажеского корпуса служил в Преображенском полку, отличился во время мировой войны, был награжден орденом св. Георгия и в 1915-м году погиб в бою под Вильно. Что-же касается среднего — Александра Николаевича, то он был тем, известным в России и в эмиграции ротмистром Барановым, прославившимся экстравагантными „подвигами”. В описываемое время дядя Алеша учился в нижегородской гимназии, дядя Володя приготовлялся к экзамену в Пажеский корпус, а дядя Шура был кадетом нижегородского графа Аракчеева корпуса.

В третьем этаже находились „свитские” комнаты, в которых помещалась наша семья, когда мы приезжали гостить к деду. В том-же этаже была уютная домовая церковь. Так как церковь находилась против дверей моей комнаты, то я каждую субботу и воскресенье заходил в нее и простиavал все службы, внимательно следя за Богослужением. Вскоре я наизусть знал все песнопения, возгласы диакона и священника. Настоятель церкви, отец Василий, представил меня новому архиерею, который сделал мне настоящий экзамен. Я блестяще выдержал этот экзамен, после чего архиерей развел руками и сказал, что назначит меня своим викарным. С тех пор дяди стали звать меня дьячком, а дед — архиереем.

Так как я был любимым внуком деда, то завтракал и

обедал не в детской, а в большой столовой, вместе со взрослыми..

У деда постоянно обедали его чиновники особых поручений. Кроме них за обедом было всегда несколько гостей, городских и приезжих. Из чиновников особых поручений я хорошо помню отставного ротмистра Киселева и капитана второго ранга Шишмарева.

Киселев считался образцовым чиновником и исполнял самые ответственные поручения деда, но страдал периодическим запоем. Чувствуя приближение болезни, он приходил на обед в полной парадной форме, со всеми орденами, заслуженными им во время турецкой войны. Встав у стены и опустив руки по швам, он начинал петь всегда одну и ту же арию: „на земле весь род людской”. Дед, сам никогда не пивший ни водки, ни вина, терпеливо выслушивал до конца эту арию, улыбался и говорил:

— Ну что-же, Павел Иванович: даю вам двухнедельный отпуск!

И Киселев исчезал из дворца на две недели, после чего с новым рвением приступал к исполнению своих обязанностей.

Капитан второго ранга Шишмарев был старшим офицером крейсера „Россия”, которым командовал дед в русско-турецкую войну. Он очень любил вспоминать эти времена и за обедом всегда рассказывал своим соседям разные истории. При этом он так увлекался, что часто нарушал чинность обеда и голос его раздавался по всей столовой.

Однажды он вспоминал, какими правами пользовался на корабле старший офицер.

— Вы ведь знаете генерала? Командуя „Россией” он был таким-же горячим и вспыльчивым и не признавал никаких возражений. И только я один мог его укротить. Бывало, как только он раскричится, я призывал офицерского „кока” (повара) и приказывал: „опустить куру в суп”! А так как Николай Михайлович терпеть не мог вареной курицы, то сразу смирялся и просил прощения. Тогда я отменял свое приказание и к обеду, вместо куриного бульона, подавался другой суп!

Дед, сидевший на другом конце стола и занятый разговором с одним из важных гостей, случайно услышал рассказ Шишмарева и вмешался в него.

— Капитан Шишмарев забыл рассказать вам, чем все это кончалось. Услыхав его приказ „коку”, я немедлен-

но вызывал старшего боцмана и, в свою очередь, приказывал: „опустить лейтенанта Шишмарева в холодную воду!”

Присутствовавшие хохотали, а Шишмарев, покраснев от досады, пытался „восстановить истину”. Но его уже никто не слушал.

3. Н. М. БАРАНОВ.

Мой дед — Николай Михайлович Баранов — был известен на всю Россию. Одни говорили, что он закоренелый реакционер, другие считали его „самодуром”, третья — оправдывали его самодурства и называли выдающимся администратором.

Проживая в доме деда, я был черезчур мал, чтобы судить о том, кем он был на самом деле. Но то, что я тогда слышал от окружающих и близко стоявших к нему людей запечатлелось в моей памяти и приводимые мною факты быть может дадут читателям представление об этом оригинальном и, во всяком случае, незаурядном боевом офицере и администраторе.

Карьера Н. М. Баранова была не только необычайной, но, пожалуй, даже фантастической и совершенно непохожей на карьеры других русских государственных деятелей. Будучи флотским офицером, он специализировался по артиллерийской части и изобрел десантное орудие, названное „Барановским”. Во время крестьянской реформы Александра 2-го Н. М. Баранов, оставаясь на морской службе, был назначен мировым посредником и близко столкнулся с крестьянским бытом. После освобождения крестьян он стал заниматься историческими исследованиями, сделался знатоком истории русского флота и был назначен заведывающим Военно-Морским музеем. Когда началась русско-турецкая война 1877-78 г.г. Баранов добровольно покинул это „теплое местечко” и перевелся в Черноморский флот, состоявший тогда из устарелых судов береговой обороны и наспех вооруженных пароходов „Русского Общества Пароходства и Торговли”. (После Крымской войны Россия не имела права держать на Черном море военного флота). Он получил в командование один из пароходов этого общества — „Весту”, вооруженный двумя 4-х дюймовыми

ми и 3-мя 3-х дюймовыми пушками, но считавшийся одним из самых быстроходных и делавшим целых... 7 узлов (12 километров) в час. Среди офицеров „Весты” был лейтенант Рождественский, ставший впоследствии адмиралом и начальником 2-й Тихоокеанской эскадры, которой и командовал в Цусимском бою.

11-го июля 1877 года „Веста” под командованием капитан-лейтенанта Баранова встретилась у берегов Румынии с турецким броненосцем „Фетхи Булендом”. Бои деревянного, вооруженного пятью малокалиберными пушками, парохода с покрытым стальной броней и вооруженным тяжелой артиллерией броненосцем — казался невозможным и был обречен на полное поражение. Но Баранов бой принял. Вскоре половина офицеров и третья часть команды „Весты” выбыла из строя. А так как турецкий броненосец превосходил „Весту” не только силой своей артиллерии, но также и скоростью, делая 10 узлов в час, то раз начавшийся бой не мог быть уже прерван и должен был закончиться по всем вероятиям гибелью „Весты”. Но удачный выстрел кормового орудия „Весты”, которое навел лейтенант Рождественский, попал в котельное отделение „Фетхи Буленда”. Этот выстрел решил судьбу боя. Турецкий броненосец прекратил огонь и вышел из боя, а „Веста” оказалась фактической победительницей.

Весть о поединке парохода „Весты” с турецким броненосцем разнеслась по всему свету. Командир „Весты”, раненый в голову и в руку, получил высшие боевые ордена — русский св. Георгия, немецкий Железный крест и французский Почетный Легион. был произведен в капитаны 2-го ранга и назначен флигель-адъютантом императора Александра Второго. На братской могиле погибших в этом бою офицеров и матросов „Весты” в Севастополе, был воздвигнут грандиозный памятник.

Так как „Веста” после этого боя была выведена из строя, то Баранов получил в командование другой пароход — „Россию”, превосходивший тоннажем „Весту” и громко названный крейсером. Крейсируя вдоль Кавказских берегов, Баранов захватил большой турецкий транспорт „Мерсину”, на котором находилось два батальона турецкой пехоты. Кроме 2000 пленных на „Мерсине” был захвачен денежный ящик с 120.000 турецких фунтов (около полумиллиона рублей). За этот подвиг Баранов был произведен в капитаны первого ранга и должен был

получить „приз” — третью часть захваченных денег. Но в призовом суде заседали „сухопутные” моряки, позавидовавшие отважному офицеру, и суд отказался присудить законный „приз” командиру и команде „России”. Хотя этот приговор и мог быть обжалован, но Баранов заявил в печати, что он действовал не из расчета, а по долгу службы и ни на какие „призы” не претендует.

По окончании войны Баранов был назначен председателем комиссии по приемке новых военных кораблей. Генерал-адмирал (главный начальник флота) — великий князь Константин Николаевич — покровительствовал адмиралу Попову, строителю броненосцев береговой обороны, прозванных „поповками”. При приеме первой „поповки”, которая оказалась совершенно непригодной для боевых операций и развивала скорость всего в 5 — 6 узлов, Баранов отказался подписать акт о приемке нового судна и подал рапорт, в котором отзывался очень нелестно об его строителе. Генерал-адмирал вернул этот рапорт Баранову и приказал ему принять „поповку”. Баранов приказания не исполнил и подал новый рапорт, в котором резко выразился не только по адресу адмирала Попова, но и его „покровителей”, намекнув на те материальные выгоды, которые, в ущерб казне, получали и строители и их покровители.

Дело кончилось тем, что флигель-адъютант государя, капитан первого ранга Баранов был предан суду за оскорбление начальника и нарушение дисциплины. Так как флигель-адъютанты не могли сидеть на скамье подсудимых, то Баранов был лишен этого звания и представал перед военно-морским судом без свитских аксельбантов. Процесс „героя Весты” прогремел по всей России. Защитником Баранова был знаменитый Плевако, произнесший блестящую речь. Но Баранов в своем последнем слове перешел от защиты к нападению и еще резче обрушился на верховное командование флотом. На суде присутствовал наследник, будущий император Александр Третий. Выслушав последнее слово Баранова, он послал своего адъютанта в цветочный магазин и вручил подсудимому венок из лавровых листьев, перевитый Владимирской лентой. (Орден св. Владимира жаловался за „гражданское мужество”). Однако судьи, признав Баранова виновным в оскорблении начальства и нарушении дисциплины, приговорили его к исключению со службы, с лишением чинов. Приговор Военно-Морского суда не

мог быть обжалован, но поступал на конфирмацию императора. К великому смущению высшего морского начальства, Александр Второй приговора не утвердил, положив на нем следующую резолюцию: „Произвести капитана первого ранга Баранова за отличие по службе в генерал-майоры с отчислением от морского ведомства и зачислением по полевой артиллерии”.

Через несколько дней после конфирмации приговора генерал-майор Баранов был назначен ковенским губернатором, а 2-го марта 1881 года, на следующий день после убийства Александра Второго — петербургским градоначальником.

На этом посту Баранов пробыл всего несколько месяцев. Его административные мероприятия и проявленные им симпатии к бывшему диктатору графу Лорис-Меликову вызвали такое негодование в окружении нового императора, что Александр Третий, не скрывавший своего благоволения к „герою Весты”, должен был уволить его с должности градоначальника и назначил Баранова Архангельским губернатором. Назначение это являлось почетной ссылкой. Но Баранов отнесся к этой ссылке довольно равнодушно.

Прибыв в Архангельск и вступив в управление этой почти необитаемой в то время губернией, Баранов удивил Россию новым „чудацеством”. Сопровождаемый своим правителем канцелярии — Н. И. Харламповичем — он объездил на оленях всю губернию, посетил все города и селения от Мурмана до северной Печоры, навел настоящую панику среди исправников, приставов и других распоряжавшихся жизнью и имуществом полудиких туземцев „помпадуров” и собрал статистические сведения, которые в течение десятилетий не могли собрать губернские статистики.

Александр Третий вызвал Баранова в Петербург, объявил ему особую благодарность и назначил Нижегородским губернатором. При этом император разрешил Баранову обращаться в некоторых случаях непосредственно к нему, минуя министра внутренних дел. Получив такую привилегию, Баранов стал неуязвим и управлял губернией, совершенно не считаясь с циркулярами и распоряжениями министра.

Поползла слава о нижегородском „самодуре”, не считавшемся ни с какими приказаниями из Петербурга и, в особенности, с освященными веками губернскими тра-

дициями. Возмущалось дворянство, протестовало чиновничество, роптало духовенство, но нижегородский „сатрап“ не обращал никакого внимания на такие протесты и „гнул в бараний рог“ всю местную администрацию, следуя примеру одного из своих предшественников — декабриста А. Н. Муравьева. Губернские чиновники, предводители дворянства, исправники и другие местные „помпадуры“ увольнялись без всякого предупреждения со службы, а некоторые из них, как и во времена Павла Первого, высыпались в 24 часа под конвоем жандармов из пределов губернии.

Одновременно с этим „самодур“ приблизил к себе политических ссыльных, к которым обращался иногда за советами и разъяснениями. В Петербург посыпались жалобы и доносы. Министр внутренних дел беспомощно разводил руками. Сенат посыпал в Нижний указы, которые возвращались Барановым в нераспечатанных конвертах. Особенно возмущало местное чиновничество то обстоятельство, что Баранов знал все, не прибегая к помощи жандармского управления, с которым не считался также, как и со всеми почтенными и пользовавшимися всеобщим уважением представителями „высшего губернского общества“.

Вскоре обнаружилось, что губернатор часто исчезает из дворца и пребывает по несколько дней в „безвестном отсутствии“. Загадка исчезновения губернатора объяснилась, когда Лукояновский исправник арестовал и посадил в „холодную“ какого-то корявого мужиченка, осмелившегося обратиться к нему с претензиями и ходатайствами от крестьян отдаленной волости. К ужасу уездного „помпадура“, появившийся в Лукоянове чиновник особых поручений губернатора — Н. Н. Смирнов — потребовал немедленного освобождения арестанта, оказавшегося... переодетым в рваный тулуп генералом Барановым.

После этого случая, хотя Баранова и окрестили Гаруналь-Рашидом, но возмущение губернской аристократии стихло, ибо оказалось, что „самодурства“ губернатора оправдывались и имели основания, так как все пострадавшие от таких „самодурств“ местные деятели были замещаны во многих злоупотреблениях и беззакониях.

4. ГОЛОД И ХОЛЕРА.

Административная деятельность Н. М. Баранова особенно развернулась во время постигшего Поволжье лихолетья — голода и холеры 1891 — 1892 г.г.

Нижний Новгород был знаменит своей „Макарьевской” ярмаркой, на которую съезжались со всех концов России финансовые тузы, купцы и промышленники. Во время ярмарки губернатор пользовался правами генерал-губернатора и командующего войсками и мог издавать постановления, не подлежащие никакому обжалованию. Он переезжал из дворца в „Главный дом”, находившийся за Окой, в ярмарочном районе. Я неоднократно посещал деда в „Главном доме”, куда он переезжал один, оставляя семью во дворце. Но „Главный дом” с его супругой, сотнями просителей, толпившихся в вестибюле и приемной, с постоянно происходившими в нем заседаниями ярмарочного и других комитетов, мне очень не нравился и я торопился скорее вернуться в тихий дворец с его прекрасным тенистым садом, спускавшимся к самой Волге..

Охвативший Нижегородскую губернию, как и все Поволжье, неурожай явился одной из причин вспыхнувшей на следующее лето холеры. Во время голода „самодур” Баранов проявил необычайную энергию. Обращаясь непосредственно к императору, он добился значительной правительственной помощи голодающему населению, учредил местные комитеты помощи пострадавшим от неурожая, привлек к этой работе всю интеллигенцию, не считаясь с политическими взглядами многих „подозрительных” и „неблагонадежных” ее представителей. Несмотря на протесты начальника губернского жандармского управления, он разрешил политическим ссыльным свободно передвигаться по губернии и принимать участие в работе комитетов. Одним из таких ссыльных был писатель В. Г. Короленко, которого я не раз встречал в столовой деда.

Первые холерные заболевания обнаружились в Нижнем в разгар ярмарки.

Казалось, что ярмарку нужно немедленно закрыть, так как съехавшиеся на нее „гости” могли разнести эпидемию по всей России. Но закрытие ярмарки вызвало бы разорение торговцев, банкротство многих фирм и биржевую панику. Поэтому Баранов ограничился установ-

лением строгого карантина на ярмарке, закрыл все увеселительные заведения и повел энергичную борьбу с эпидемией и дикими предрассудками населения, нежелавшего подчиняться санитарным правилам и обвинявшего в распространении холеры „господ” и врачей.

Волжская вода была заражена холерными бациллами. Сеть нижегородского водопровода была слабо развита и население пользовалось преимущественно речной, т. е. зараженной водой. Многочисленные квасные лавки и уличные торговцы сбитнем и прохладительными напитками пользовались для фабрикации своих изделий также сырой водой. Поставленные на всех углах бочки с кипяченой тепловатой водой не пользовались популярностью среди населения, изнемогавшего от жары и предпочитавшего „холодный квасок”. Тогда Барапов собрал нижегородское купечество и съехавшихся на ярмарку тузов и пригрозил им закрыть ярмарку, если они не соберут денег для приобретения двадцати тысяч ведер красного вина. Сначала купцы категорически отказались от такого „разорительного” пожертвования, но когда губернатор заявил, что закрывает ярмарку и приказал присутствовавшему на собрании правительству канцелярии представить ему на подпись соответствующий приказ, коммерсанты призадумались и в конце концов подписали нужную Барапову сумму. Не только в Нижнем, но и во всех уездных и соседних губернских городах были скучлены все запасы отечественного и заграничного красного вина. Надежные люди, набранные Бараповым главным образом из „неблагонадежных” элементов, вливали в бочки с кипяченой водой изрядные порции красного вина и вскоре владельцы квасоваренных заводов, сбитещики и разносчики прохладительных напитков завопили о разорении, ибо обыватели бросились штурмовать бочки с разбавленным на половину водой красным вином. В продолжении двух месяцев нижегородцы пили только воду с вином и количество холерных заболеваний сразу пошло на убыль.

Барапов обратил внимание также на антисанитарное состояние улиц, дворов, свалочных и других „злачных” мест. Для этого ему пришлось вмешаться в компетенцию городской управы, что вызвало взрыв возмущения „отцов города”. Но крутые меры, которые губернатор не стеснялся применять ко всем нарушителям его распоряжений, быстро достигли нужных результатов. Вла-

дельцы домов, гостинниц, ресторанов и постоянных дворов штрафовались беспощадно, причем на некоторых из них налагались чудовищные по тем временам штрафы в тысячи рублей. „Гарун-аль-Рашид“ постоянно „шлялся“ по городу и всюду рассыпал своих „неблагонадежных“ шпиков, доносивших ему о всех непорядках. Все налагавшиеся на нарушителей санитарных правил взыскания объявлялись в знаменитых „приказах“ губернатора, напоминавших афиши Ростопчина 1812 года. К великому ужасу и возмущению не только консервативных толстосумов, но и большей части прогрессивных элементов. Баранов прибег и к телесному наказанию, т. е. к порке особо закоренелых нарушителей его приказов. Первыми выпоротыми оказались владельцы двух ярмарочных притонов, тайно торговавших вином. Имена наказанных и отпущеные им порции розог были также объявлены в очередном „приказе“. По городу разнесся слух, что в числе выпоротых оказался и нижегородский полицеймейстер, подполковник К. С...., которого губернатор накрыл в одном из притонов, самолично отвез в пожарную часть и после порки немедленно выслал из пределов губернии.

Все эти мероприятия не могли однако, приостановить холерные заболевания, которые продолжали держаться на высоком уровне. Приходилось открывать новые больницы и приспосабливать под „холерные бараки“ казенные и частные здания. Н. М. Баранов, не задумываясь, отвел под холерный госпиталь и губернаторский дом. В Саратове, Казани, Самаре и других поволжских городах вспыхнули холерные бунты. Перепуганный народ озверел, избивал и убивал врачей, которых обвиняли в погребении живых людей. Трупы умерших в холерных конвульсиях хоронились немедленно. Наступавшее трупное окоченение выпрямляло мускулы сведенных судорогами рук и ног покойников. Носильщики и могильщики распространяли среди населения слухи о том, что засыпаемые известью покойники двигают руками и ногами. Поэтому обыватели стали бояться холерных госпиталей, скрывали заболевавших и обвиняли администрацию госпиталей в погребении живых людей. Слухи эти дошли и до Нижнего. Баранов сам услышал о них, проникнув как-то переодетым в толпу, собравшуюся перед одним из холерных бараков. Он заметил выступавшего перед толпой мещанина, узнал и записал его фамилию и тот-

час на столбах и заборах был расклеен следующий приказ губернатора:

„Мещанин М... заметил, что из одного холерного госпиталя был вынесен и предан погребению больной, подававший признаки жизни. Назначаю мещанина М... помощником смотрителя указанного холерного госпиталя и вменяю ему в обязанность наблюдать за тем, чтобы такие случаи впредь не повторялись.”

Мещанина подняли ночью с постели и, несмотря на все его протесты, плач и крики домашних, отвезли в госпиталь и приставили наблюдать за умирающими холерными больными.

Результатом этого приказа явилось прекращение тревоживших население слухов. Если кто нибудь на улице, базаре или другом публичном месте подымал разговор о живых покойниках, слушатели, оглядываясь по сторонам, расходились, приговаривая:

— Вот подожди, узнает об этом Баранов и пошлет тебя сторожить покойников!

И никаких холерных бунтов в Нижнем не было. В Саратове и Казани для усмирения этих бунтов были вызваны войска, стрелявшие в толпу. Были убитые и раненые. В Нижнем Новгороде жертвами холерных беспорядков оказались лишь два десятка выпоротых и несколько сот оштрафованных или посаженных в „холодную” нарушителей санитарных правил.

В это тревожное время семья деда и наша находились на даче, на станции Горбатовка, в двадцати верстах от Нижнего. Мы узнавали о всем происходившем в Нижнем от дяди Алеши, жившего с дедом в „Главном доме” и приезжавшего раз в неделю в Горбатовку. От него-же мы узнали, что и дед, постоянно посещавший холерные госпиталя и помогавший, для примера, выносить носилки с больными, сам заразился и заболел холерой. Железный организм деда и быстро принятые меры побороли болезнь, которая была скрыта не только от населения, но и от приближенных к губернатору чиновников, даже от его семьи.

Осенью эпидемия пошла на убыль и вскоре Нижний Новгород был объявлен „благополучным по холере”.

Воспоминанием об этом тяжелом времени осталось четверостишие, написанное одним из нижегородских писателей и долгое время хранившееся у бабушки.

„Нижегородский боевой администратор

Приказы пишет горячо, как регистратор,
Холеру — побродяжку посадил в тюрьму,
А голод выгнал вон, дав хлеба ломть в суму.”

5. ФОНТАНКА.

Из Горбатовки наша семья вернулась в Петербург и снова поселилась на Галерной улице. Вскоре, однако, отец продал дом, обменяв его на небольшое имение в Черниговской губернии. Имение это нужно было еще привести в порядок и построить в нем новый дом, так как старый был непригоден для жилья. Поэтому мы переехали на квартиру в доме № 11 по Фонтанке, между Симеоновским и Аничковым мостом. К моему большому горю Попку и Ваську тоже продали и я долго оплакивал их, как и моего друга Михенча. Но вскоре новые впечатления развлекли меня и я забыл своих старых друзей.

Против окон нашей квартиры, помещавшейся в бэль-этаже, был устроен на льду замерзшей Фонтанки каток. Особенное оживление наступало на катке по вечерам, когда зажигались большие дуговые фонари и гремела военная музыка. Под эту музыку офицеры, студенты и гимназисты катились на коньках с барышнями, раздавался веселый смех, а иногда и взрывы хохота. Когда какой-нибудь неудачник, желая щегольнуть своим искусством, терял равновесие, падал на лед и беспомощно барахтался на нем. Весной каток закрывался и вскоре, после вскрытия реки, на ней появлялись маленькие „Финляндские” пароходики. Я очень любил кататься на них и бывали дни, когда я по четыре раза проезжал всю Фонтанку, от Летнего сада до Калинкина моста. Финляндец-капитан, с неизменной трубкой во рту, вертел рулевое колесо и кричал в рупор смешные команды: „полный кот перетт” и „топп масина”.

По сравнению с Галерной, Фонтанка была довольно шумной и оживленной улицей, по которой громыхали ломовые телеги и проезжали многочисленные „Ваньки”.

Вс двор нашего дома часто заходили разносчики и бабы-торговки, громко расхваливавшие свои товары.

— Селедки голландские, селедки! — пронзительно кричала закутанная в байковый платок баба-селедочница.

— Клюква ягода, клюква! Клюква подснежная, клюква! — вторила ей другая, бойкая и румяная олочанка.

Редиска молодая, огурчики зеленые, крупная спаржа есть! — заливался, держа свой лоток на голове, „желтоглазый” зеленищик — ярославец.

Но больше всех мне нравился ежедневно появлявшийся на дворе татарин, или „князь”, как его называла наша прислуha, скupавший поношенное платье.

— Халат, халат! — возвещал он о своем приходе протяжным басом.

И я часто подражал татарину, гуляя по квартире с мешком за плечами и покрикивая: „халат, халат!”

Недалеко от нас, у Симеоновского моста, находился известный всем петербуржцам цирк Чинизелли. Помню какое впечатление произвело на меня первое представление, которое я видел в этом цирке. У нас была ложа в партере, у самого барьера, поэтому клоуны, лошади и дрессированные звери находились совсем близко от нас. Залитая ослепительным светом арена, гремевшая на хорах музыка, наполнившие цирк зрители, крики клоунов и хлопание бичей дрессировщиков так ошеломили меня, что я долго не мог прийти в себя. На этом представлении я впервые увидел знаменитого Дурова и его крыс, ездивших в игрушечном поезде, прогуливавшихся на перроне маленькой станции и управляемых паровозиком. С восторгом я смотрел также на дрессированных лошадей, которые послушно исполняли всякие номера — разбегались и галопировали по кругу, собирались к своему хозяину, подымались на задние ноги и танцевали. Две из них были похожи на моих Попку и Ваську, почему я очень обрадовался, когда во время антракта отец повел меня на конюшню, где я мог погладить этих милых лошадок.

Цирк мне очень понравился и я часто приставал к маме и к отцу, прося их еще раз свести меня на представление. В эту зиму мы три раза были в цирке и каждый раз я видел там все новые и интересные вещи. К этому времени я уже хорошо читал и первыми моими книгами, которыми я увлекался, были романы Жюля Верна. С героями этих романов я мысленно путешествовал по океанам, по пустыням Африки и джунглям Индии. Поэтому я был страшно обрадован, когда в цирке увидел пантомиму „Вокруг света в 80 дней”. Я видел на арене моих знакомцев — Филеаса

Фогга и Паспарту, пережил с ними нападение на поезд и путешествие на настоящем живом слоне.

Чтение романов Жюля Верна возбудили у меня интерес к географии. По моей просьбе отец купил мне большие стенные карты Европы, Азии, Африки, Америки и двух полушарий, а также несколько учебников географии. Вскоре я наизусть выучил все моря, реки, горы и города и безошибочно находил их на картах.

Наши прогулки с мадам Жюли возобновились, но теперь маршруты их изменились. Мы гуляли по Фонтанке, Невскому, Караванной, часто бывали в Летнем саду и в парке Михайловского дворца. Гуляя по Невскому, мы заходили в Казанский собор, где я всегда посещал могилу Кутузова и рассматривал французские знамена, стоявшие полукругом у могилы фельдмаршала. Я также любил ходить в Летний сад, подолгу простоявал перед памятником дедушки Крылова и наблюдал за учением солдат на Марсовом поле.

На маслянице мы обязательно посещали с мадам Жюли балаганы на Марсовом поле и я видел в них замечательные представления: „Сем Симеонов”, „Битву русских с кабардинцами” и „Белого генерала Скobelева”.

Народные гулянья и балаганы на Марсовом поле являлись петербургской традицией. Каждый петербуржец — старый и малый, богатый и бедный, знатный сановник и простой ремесленник — считали своим долгом побывать на Марсовом поле, послушать прибаутки „балаганного деда”, посмотреть качавшихся на гигантских качелях солдат и визжавших от удовольствия горничных и обойти балаганы. Одни приходили сюда пешком, другие приезжали в собственных экипажах. И часто на Марсовом поле можно было увидеть даже придворные кареты с кучерами и выездными лакеями, облаченными в красные с золотом ливреи и треугольные шляпы с белыми плюмажами.

На масляной мы также, как и все петербургские дети, катались на „вейках”. Так назывались приезжавшие из окрестных деревень финские крестьяне. Их деревенские сани были запряжены маленькими лошадками, гривы которых украсились разноцветными ленточками и лоскутками. А к дуге подвешивались бубенчики, звон которых целую неделю раздавался на всех петербургских улицах. Любая поездка на „вейке”, в какой угодно конец города, обходилась в одну цену: „Ритцать копеек”, всегда требовал флегматичный финн и никто с ним не торговался, как

это было принято при найме извозчиков.

На шестой неделе Великого поста необходимо было побывать на „вербах” — предпасхальном базаре перед Гостинным двором или на Конно-гвардейском бульваре. С „верб” мы приносили домой разноцветные, наполненные газом, шары, дешевые сладости и игрушки, из которых самыми замечательными были „американские жители” (человечки, опускавшиеся и подымавшиеся в стеклянной трубочке).

В ту же зиму я побывал с мамой в Соляном городке на „передвижной выставке” русских художников. Мне особенно понравились картины Семирadского, Маковского и Васнецова. Я долго любовался ими, и мама с трудом увела меня с выставки. На следующий день я упросил снова пустить меня в Соляной городок, куда и пошел с мадам Жюли. И каждый следующий год я неизменно посещал передвижные выставки, возвращаясь с которых старался по памяти изобразить на бумаге особенно понравившиеся мне картины. Благодаря этим выставкам я полюбил живопись. И, хотя никогда не достиг совершенства в этой отрасли искусства, на все-же научился недурно рисовать.

В октябре 1894 года скончался император Александр Третий. Рассматривая в газетах портреты покойного государя, я вспоминал мою встречу с ним на Невском и находил, что портреты очень похожи на того царя с рыжеватой бородой, которого я видел и которому кланялся два года тому назад. Из окон квартиры одного из моих дядей, на углу Невского и Знаменской, я видел похороны Александра Третьего. Войска стояли шпалерами по обе стороны Невского. За войсками чернело море голов собравшейся публики. Процессию открывали герольды в черных средневековых костюмах. За герольдами выступало духовенство и генералы, несшие на подушках корону, скипетр, державу и ордена. На запряженной восемью лошадьми колеснице с балдахином и золотыми кистями, которые держали также генералы, стоял золотой гроб. За гробом шел молодой император, иностранные короли, принцы и бесчисленное количество русских и иностранных генералов, посланников и сановников. За катафалком с гробом ехали десятки колесниц с венками и кареты, в которых сидели вдовствующая императрица, великие княгини и иностранные принцессы. Через несколько дней я был в Петропавловском соборе на могиле Александра Третьего,

которая вся была покрыта золотыми и серебряными венками. Такие-же венки были развесены по всем стенам собора и даже на решетках могил других царей, так как разместить их вокруг свежей могилы Александра Третьего было невозможно.

Вскоре после похорон Александра Третьего мы с мамой снова уехали в Нижний, где в конце 1894 года родилась моя младшая сестра, скончавшаяся в 1917-м году сестрой милосердия на юго-западном фронте. (Во время первой мировой войны две моих сестры были сестрами милосердия и обе погибли на фронте).

6. САНКТ ПЕТЕРБУРГ.

С. Петербург, в котором я провел свое раннее детство, в который вернулся 16-тилетним юношей и в котором прожил счастливые годы моей молодости, остался для меня до сих пор красивейшим городом в мире.

Я много путешествовал в своей жизни, видел Лондон, Париж, Берлин, Вену, Рим, Константинополь и другие большие города. Каждый из этих городов по своему красив, имеет свои достопримечательности, но ни один из них я не могу сравнить с милым моему сердцу „блестательным Санкт Петербургом”.

Я видел Петербург глазами интересовавшегося всякими мелочами мальчика, любознательного юноши и зрелого молодого человека. И чем становился я старше, тем больше любил этот город, открывая в нем все новые и новые прелести. В этом нет ничего удивительного, ибо на моих глазах Петербург украшался новыми зданиями, памятниками и мостами. Газовое освещение заменилось электрическим, а патриархальные „сорок мучеников” и „конки” — трамваями. Я видел, как расширялся и застраивался самый красивый в Европе Каменноостровский проспект, как строился вместо разводного деревянного — массивный Троицкий мост и оригинальный своей архитектурой новый Царскосельский вокзал, как „на Песках” и в „Измайловском полку” сносились старые деревянные домики и на их месте воздвигались каменные 4-х и бтиэтажные доходные дома. Правда, в „моем” Петербурге не было ни небоскребов, ни парижских бульваров. Но разве можно сравнить построенные Растрелли, Воронихиным и други-

ми знаменитыми архитекторами дворцы, особняки и храмы с 30-ти этажными железобетонными коробками? А какой нибудь „бульвар Капуцинов” с нашим Невским проспектом, Елисейские поля — с Каменноостровским и аллеями Елагина острова или набережные Сены и Темзы с Дворцовой набережной?

Мы, русские, всегда отличались от иностранцев тем, что не ценили своего, восхищались всем заграничным, не любили путешествовать по своей стране, предпочитая Французскую Ривьеру нашему Кавказскому побережью и Крыму, а Саксонскую Швейцарию дикой красоте Урала, Кавказа и Алтая. Вот почему наши чудаки равнодушно глядели на красавицу Неву и восхищались мутной Сеной. Но для меня Нева была в тысячу раз красивее Сены, а Петербург — милее и красивее Берлина, Парижа или Праги, в которых я неоднократно бывал и даже проживал не только в годы эмиграции (когда мы все стали патриотами), но и до первой мировой войны.

Невский проспект моего детства я вспоминаю, как широкую улицу, с высокими и красивыми домами, с толпой народа, снующего по тротуарам и бесконечной вереницей „ванек”, карет и саней. Весной и летом извозчики пролетки и кареты почти бесшумно катились по торцовой мостовой, а зимой — парные и одиночные сани также бесшумно скользили по рыхлому снегу, который до наступления оттепели никогда не скальвался с петербургских улиц. А по середине Невского, весело позванивая, тянулись, запряженные двумя лошадьми, вагоны конной железной дороги („конки“). Три вагона, один за другим, не торопясь катились по одноколейному пути, доезжали до разъезда и останавливались, поджидая такие-же три вагона, ехавшие им навстречу. Через несколько лет милая старая „конка“ исчезла не только с Невского, но и с других петербургских улиц. Ее сменили быстро мчавшиеся по двум путям трамваи, уже не останавливавшиеся на разъездах.

Гостинный двор с его разнообразными магазинами, из которых нас больше всего интересовали игрушечный Дойникова и книжный Вольфа, был также одним из моих любимых уголков Невского.

Казанский собор, Гостинный двор и „конка“ — таковы были мои детские впечатления о Невском. Позднее к ним прибавились Аничков мост с его красивыми конными фигурами, сквер с памятником Екатерине Второй и каланча

городской думы. Много позднее, уже будучи офицером, я также любил прогуливаться по Невскому, особенно в солнечные дни. Невский был одинаково прекрасен, как зимой, так и весной. Даже летом, когда ремонтировалась торцовая мостовая и когда весь проспект был пропитан запахом смолы и дегтя, я любил гулять по Невскому. Часто, во время таких прогулок, я с нетерпением поджидал „адмиральский час”, когда ровно в 12 часов дня с верхов Петropавловской крепости раздавался пушечный выстрел. Многие петербуржцы также ожидали „адмиральский час”, чтобы зайти в известный ресторан „Переца” и выпить рюмку водки. „Адмиральский час” был также одной из петербургских традиций, и в это время у длинной буфетной стойки „Переца” можно было встретить военных и штатских петербуржцев, элегантных гвардейских офицеров, солидных генералов, чиновников различных министерств и простых обывателей. А огромный буфетный прилавок ломился от графинов водки и всевозможных настоек, горячих пирожков, пышных, „дышащих паром”, кулебяк, холодной осетрины с хреном, балыков, свежей и паюсной икры. И все эти закуски почему-то казались гораздо более вкусными у „Переца”, чем в офицерском собрании или дома.

Конечно, балаганы на Марсовом поле, „вербы”, „вейки” и ресторан „Переца” не являются доказательствами красоты и величия старого Петербурга. Но все это — были петербургские традиции, о которых ни один петербуржец не может вспомнить без грусти и умиления.

Но вернемся к воспоминаниям детства. Весна наступала в Петербурге не сразу. В апреле, после того, как вскрывалась Нева наступали солнечные и теплые дни. Дни становились все длиннее и длиннее. В Летнем саду распускались почки на деревьях. Но петербуржцы знали, что это еще не весна. Тёплые зимние пальто и шубы оставались висеть в передней, вторые рамы не выставлялись. И в середине мая, просыпаясь утром, мы видели покрытые снегом крыши, озябших прохожих, торопливо бежавших по своим делам, и обывателей, с поднятыми воротниками проезжавших на извозчиках. По Неве шел Ладожский лед. Но через два-три дня Нева снова освобождалась от льда, солнышко согревало озябших петербуржцев и на-

ступала настоящая весна, отличавшаяся в Петербурге длинными, ясными и пригожими днями.

Начинались сборы на дачу. А пока дача не была еще снята, пока не были запакованы или сданы на хранение зимние вещи — петербуржцы каждый вечер ездили подышать весенним воздухом на острова. Эти паломничества совершались либо по Неве, на финляндских пароходиках, либо в экипажах. С кормы маленького парохода можно было любоваться широкой и полноводной Невой, ее гранитными набережными с их красивыми дворцами, Петропавловской крепостью, златоглавым Исаакием, адмиралтейством и биржей. А когда пароходик входил в Малую Невку, открывались красивые дачи, окруженные прекрасными густыми парками и садами. По всей реке скользили лодочки и шлюпки с катающимися обывателями. Раздавались песни и звуки балалаек и гармоник.. Если ехали в экипаже, то обязательно доезжали до „Стрелки” — оконечности Елагина острова, омываемого Финским заливом. Со „Стрелки”, на фоне заходящего солнца, издали виднелся Кронштадт и леса Сестрорецка.

Поездками весной на острова, прогулками по аллеям Елагина острова и „Стрелкой” кончаются мои детские воспоминания о Петербурге.

Прошло несколько лет. Семья наша переехала в Черниговскую губерию, где закончилось мое детство и началась юность. После смерти отца я вернулся в Петербург, в котором прожил еще 15 лет. Детские удовольствия — поездки на финляндских пароходиках, „конке” и „вейках”, балаганы на Марсовом поле и „вербы” сменились другими развлечениями. Эрмитаж, выставки картин, Мариинский, Александринский, Михайловский, а впоследствие и Суворинский театр — я стал посещать еще пажем. Воспитанники старших классов Пажеского корпуса могли во всех императорских театрах получать бесплатно непрорданные места в партере. Я и пользовался этим правом каждую среду и субботу. Получить такое место в Мариинском театре было немыслимо, поэтому я больше всего бывал в Александринском. В то время гордостью Александринской труппы были знаменитые Савина, Стрельская, Давыдов и Варламов. Я не пропускал ни одной премьеры в Александринке; даже и тогда, когда представлялась

возможность посмотреть „Лебединое озеро” или „Спящую красавицу” в Мариинском театре.

А весной и летом посещение выставок и театров заменялось другими удовольствиями — поездками в окрестности Петербурга.

Новый Троицкий мост соединил Петербург с прекрасным Каменноостровским проспектом, в конце которого находились Коломяги с их скаковым ипподромом. Каждая поездка в Коломяги давала возможность снова полюбоваться красавицей Невой, набережными с их прекрасными дворцами и новыми особняками Каменноостровского. Возвращаясь поздно вечером со скачек, можно было заехать в летние рестораны — Эрнеста или Виллу Родэ, которые я, впрочем, посещал очень редко. И как красив был Петербург в „белую” летнюю ночь, когда в легких сумерках молочным светом сверкали отражавшиеся в Неве фонари набережных, темнели деревья Летнего сада, а купол Исаакия отражал лучи неисчезавшей всю ночь зари!

Тих и спокоен был ночной Петербург летом. Но в этой тишине, так непохожей на шумный ночной Париж, была своя особая прелесть. Прелесть дремлющего города — красавца, дворцы, храмы и памятники которого не нуждались, как в европейских столицах, в искусственном освещении их прожекторами и разноцветными рекламными фонарями.

Таким сохранился в моей памяти тот Петербург, который я покинул почти сорок лет тому назад и который никогда больше не увижу..

7. ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА.

Я хорошо помню Всероссийскую выставку 1896 года в Нижнем Новгороде, на которую наша семья приехала уже из Черниговской губернии.

Выставка эта была первой в России, организованной в таком грандиозном по тогдашним понятиям размере и последовавшие за ней выставки в Москве и Киеве не были уже такими оригинальными и импозантными.

Уже в эмиграции, в 1930-х годах, я видел подобные выставки в Праге и Будапеште. И хотя эти заграничные выставки происходили на 35 лет позже Нижегородской, я должен сказать, что, несмотря на все новейшие изобретения и технические достижения, которыми были так богаты первые десятилетия XX-го века, они во многом уступали Нижегородской, и наша русская выставка была и более

оригинальна и более художественна. Конечно, нельзя сравнивать экспонаты этих совершенно различных выставок, но распланировка павильонов, их внешний вид, выставленные в них образцы русской фабричной и кустарной промышленности, богатство этих образцов и их художественная отделка, а также общий вид Нижегородской выставки производили большое впечатление на посетителей.

Хотя официальным организатором и распорядителем выставки был товарищ министра финансов В. Н. Ковалевский, но мой дед Баранов являлся ее душой и посвящал ее устройству большую часть своего времени.

Еще задолго до открытия выставки в Нижний Новгород стали съезжаться министры, сановники и видные представители торгово-промышленного мира. Среди них я помню К. П. Победоносцева и С. Ю. Витте. Победоносцев вошел в историю, как пользовавшийся огромным влиянием на императора Николая Второго реакционер и противник всяких демократических реформ. Но редко кто из публицистов вспоминает Победоносцева, как одного из выдающихся русских ученых и законоведов. Он производил глубокое впечатление на своих слушателей и собеседников. К. П. Победоносцев очень любил и уважал моего деда, с которым, несмотря на это, часто вступал в споры. Конечно, мне, маленькому мальчику, были непонятны их серьезные разговоры, но, присутствуя на обедах у деда, на которых ежедневно бывал тогда Победоносцев, я видел его умное, обрамленное небольшими бакенбардами лицо и прикрытые большими роговыми очками живые глаза. Мне нравился его уверенный, спокойный голос и та вежливость, с которой он обращался к собеседникам.

Совершенно другое впечатление произвел на меня тогдашний министр финансов С. Ю. Витте, также приезжавший несколько раз в Нижний и обедавший у деда. Мне не нравилась ни его внешность, ни та самоуверенность, с которой он говорил. Мне казалось, что Витте относится свысока ко всем собеседникам и пытается показать, что он все знает и не нуждается ни в чьих одобрениях.

На открытие выставки ожидались молодой царь с царицей. Для царской четы устраивались помещения во дворце, из которого дед и его семья перебрались в Главный дом.

Приехавшие также заранее царедворцы, чиновники министерства двора и дворцовая челядь старались показать свою независимость и превосходство над жалкими про-

винциалами. Однако дед, считавший себя единовластным хозяином Нижнего, при каждом случае осаживал зазнавшихся придворных, а начальнику царской охраны заявил, что он отвечает за жизнь и безопасность государя, почему вся охрана должна беспрекословно исполнять все его указания и распоряжения.

Но царедворцы не желали подчиняться какому-то провинциальному губернатору, а распущенная дворцовая прислуга, завладевшая покинутым дворцом, демонстративно нарушала строгие распоряжения деда и правила, введенные им на время пребывания государя в Нижнем. Баранов не долго терпел такое самоуправство и вскоре во дворце разразился большой скандал, вызвавший вмешательство дворцового коменданта генерал-адъютанта Гессе. Однажды дворцовые лакеи и повара перепились, устроили дебош и чуть не избили смотрителя дворца, пытавшегося их урезонить. Смотритель дворца пожаловался деду, который немедленно явился во дворец с полусотней казаков, городовых и пожарных. Пьяная прислуга была собрана в парадном зале и тут- же перепорота. Хотя порка и отрезвила дворцовую челядь, но вызвала взрыв возмущения среди царедворцев. В Петербург была послана телеграмма, и в Нижний примчался дворцовый комендант. Баранов подтвердил генералу Гессе справедливость жалобы дворцовой прислуги, но заявил также, что, неся огромную ответственность за безопасность государя, он и впредь не остановится перед такими же мероприятиями по отношению ко всем нарушителям его распоряжений.

— Вы можете забрать с собой в Петербург всю вашу распущенную челядь, — сказал он генералу Гессе: — вместо них я здесь, в Нижнем, найду расторопных, честных и послушных поваров и лакеев.

Убедившись в том, что „коса нашла на камень” и что Нижегородский губернатор шутить не любит, петербургские гости притихли и стали беспрекословно исполнять все приказания деда.

Прибывшие в Нижний государь и государыня были торжественно встречены всем населением города, которое, несмотря на возражения охраны, было свободно допущено на вокзал и прилегавшие к нему улицы. За несколько дней до приезда царя по городу были расклеены воззвания губернатора к нижегородцам, в которых Баранов заявлял, что возлагает охрану государя на на-

селение и призывал всех постараться, чтобы пребывание в Нижнем высокого гостя не омрачилось беспорядками и бесчинствами. По всему длинному пути от вокзала, через понтонный мост и дальше до самого Кремля, царя приветствовали толпы народа, чинно выстроившиеся шпалерами по обеим сторонам улиц. Дед ехал впереди царского экипажа, встретил государя и государыню на подъезде дворца и проводил в подготовленные им покой.

Царская чета пробыла в Нижнем три дня. За эти дни государь побывал на выставке, осмотрел все павильоны, посетил собор, принимал депутатии от дворян, купечества и крестьян и совершил поездку на разукрашенном цветами и зеленью пароходе по Волге.

Так как государь пожелал, чтобы дед представил ему свою семью, то при отъезде царской четы бабушка, мама, обе моих тетки и дяди были в царском павильоне. Государь и государыня подошли к ним и разговаривали с бабушкой и мамой.

Все ожидали, что, после посещения государем Нижнего-Новгорода, Баранов будет назначен генерал-адъютантом и получит новый, более высокий пост. Но натянутые отношения деда с всемогущим Витте, министром внутренних дел и дворцовым комендантом явились причиной того, что он получил только высочайшую благодарность и звезду ордена Александра Невского.

Через два года после Всероссийской выставки Н. М. Баранов был назначен сенатором, а затем первоприсутствующим первого департамента Сената.

Будучи сенатором, он несколько раз ездил на ревизии в Восточную Сибирь. Во время одной из таких ревизий дед сильно обморозился, простудился и, проболев три месяца, скончался в июле 1901 года, оставив без всяких средств вдову и четырех детей.

В воздаяние заслуг Н. М. Баранова, в 1902 году, в день 25-ти летия боя „Весты”, на его могиле, на кладбище Новодевичьего монастыря в Петербурге, был поставлен мраморный памятник. А в 1910-м году один из новых миноносцев Черноморского флота был назван „Капитан-лейтенантом Барановым”.

8. ЗАЛЕПЕЕВКА.

С Фонтанки мы переехали в приобретенное отцом имение, находившееся на границе Новозыбковского и Стародубского уездов Черниговской губернии.

Так как наш дом еще строился, то мы поселились у соседа — Василия Дмитриевича Овсеенко-Пушкаренко, у которого и прожили все лето. Наш хозяин был членом многочисленного рода Овсеенков, дворян — однодворцев. Весь род этих обедневших дворян жил в одной деревне — Овсеенковом хуторе. Хотя все жители этой деревни считались дворянами, но вели крестьянский образ жизни. Владея небольшими земельными участками, от 8 до 10 десятин, они сами обрабатывали землю, пахали, косили, молотили, ходили в крестьянской одежде и только по праздникам, отправляясь в церковь, облекались в „панскую“. Некоторые из них одевали в эти дни даже „дворянскую“ фуражку с красным околышем и чиновничьей кардой. Только двое из рода Овсеенков — Василий Дмитриевич и его дядя Митрофан Семенович, накопив деньжат, приобрели небольшие именьица, выселились с Овсеенкова хутора и стали помещиками.

Василий Дмитриевич и Митрофан Семенович были нашими ближайшими соседями. Их имения граничили с нашим, Митрофан Семенович — пожилой, уже седой человек, старался походить на настоящего помещика, построил приличный дом, обзавелся бричкой и парой выездных лошадок и постоянно носил „дворянскую“ фуражку. По праздникам он прицеплял к сюртуку бронзовую медаль на владимирской ленте, переходившую от отца к сыну в роду участников Отечественной войны. Позднее к этой медали прибавилась вторая — за Всероссийскую перепись. Сделавшись помещиком, он стал выписывать „Ниву“, газету „Свет“ и любил рассуждать о политике. В своем маленьком имении Митрофан Семенович вводил всякие новшества и занимался „высокими культурами“. Но все его „высокие культуры“ состояли лишь в том, что он называл овощи и растения какими-то им самим выдуманными „учеными“ словами: картофель — „патэтои“, просо — „саракинским зерном“, а помидоры — „семинедельным тропическим растением — амортифруктизой“.

Василий Дмитриевич был моложе и проще своего дяди

дюшки. Окончив только церковно-приходскую школу, он читал лишь „Крестовый календарь”, никакой политикой не интересовался и с утра до вечера копался в своем саду и огороде.

В двух верстах от нашего имения, в деревне Кореневке, проживал третий наш сосед — помещик Константин Ильич Якимович-Кожуховский. Он был настоящим двойником Плюшкина, отличаясь от последнего лишь крайней бедностью и еще большей жадностью. До освобождения крестьян он владел 30-ю душами, которых облагал непосильными оброками. Поэтому кореневские крестьяне считались самыми бедными в уезде и долго не могли оправиться от жадности своего помещика. Еще при нас в Кореневке большая часть изб стояли покривившись, вросли в землю, не имели ворот, а некоторые даже и печных труб. Якимович никак не мог примириться с освобождением своих крепостных, отказывался наделить их землей, спорил с мировыми посредниками, подавал прошения губернатору и жалобы в суд. Бывшие крепостные стали мстить жадному и несговорчивому помещику, сожгли у него дом, гумно и амбар. Якимович начал судиться с крестьянами. Но мужички не сознавались в поджоге, сваливая вину на цыган, расположившихся в день пожара табором около Кореневки. Так как вину крестьян нельзя было доказать, то Якимович не мог взыскать с них убытки. С тех пор он возненавидел крестьян лютой ненавистью. Переехав в уцелевший от пожара флигелек, он заколотил досками окна и поселился с женой в кухне, обратив остальные три комнаты в амбар, в которыйсыпал зерно, картофель, яблоки и хранил случайно уцелевшие хомуты, сбрую и мебель.

Имение его — около 30 десятин — состояло из небольшого поля, луга, старого запущенного сада и леса. Так как окрестные крестьяне не хотели работать у Константина Ильича, то поле и луг он сдавал в аренду кулаку Карпею, который платил ему третьим споном жита и третьей копной сена, т. е. брал себе две трети урожая.

Константин Ильич, благодаря своему длинному и кривому носу, прозванный мужиками „Носачем”, ходил зимой и летом в рваном полушибке и изъеденном молью меховом картузе с наушниками. Не выпуская из рук дробового ружья, он с раннего утра до поздней ночи обхо-

дил свои владения. Так как имение Якимовича находилось в самой Кореневке, отделенное от деревни только „шляхом”, то на его луг часто забредали деревенские куры, телята и овцы. Заблудившихся кур он пристреливал из своего дробовика, а телят и овец загонял к себе в усадьбу. Бабы и мужики являлись выкупать своих телушек и начинали торговаться с „Носачем”. Торговля эта сопровождалась бранью и угрозами. Мужички и, особенно, бабы проклинали „скаженного пана” и „бисова носача”, желая ему как можно скорее переселиться в „пекло”. Якимович злорадствовал, отругивался, но в конце концов договаривался с крестьянами и возвращал им скотину. Только застреленных кур он никогда не отдавал, оставляя их себе на пропитание. Если ему удавалось настигнуть в лесу мужика, пытавшегося срубить несколько лесин для починки разваливающейся избы, то „Носач”, угрожая ружьем, арестовывал порубщика, отводил его к старосте и подавал жалобу в волостной суд. А так как Якимович никогда не соглашался с приговорами волостного суда и размерами присужденного в его пользу штрафа, то иски его передавались в уездные инстанции, которым „Носач” также надоедал своими жалобами, как и местной администрации — уряднику, приставу и исправнику. Поэтому весь уезд знал и недолюбливал Якимовича, от которого все сторонились и с которым никто не хотел зваться. Впрочем Константин Ильич был даже рад этому, так как сам не любил своих соседей, завидовал им, никогда у них не бывал и к себе не приглашал. Он даже не принимал у себя священника и дьячка, когда они обходили приход и „славили Христа”. При появлении духовенства „Носач” уходил в лес, а свою покорную и забитую жену запирал во флигеле.

Мы все очень жалели эту маленькую, худенькую стручку, робко пробирающуюся по праздникам в церковь, где мы иногда ее встречали. Каждый раз ей вручали кое что из одежды и „гостинцы”. Она трогательно благодарила и, спрятав подарки в складки своей старой шали, уносила их домой.

Других соседей, кроме этих трех помещиков, у нас не было и ближайшее имение — князя Долгорукова — находилось в 25-ти верстах от нас, в Великом Тополе.

Каждое утро мы ходили пешком в наше имение, нахо-

дившееся всего в одной версте от домика Василия Дмитриевича. Дорога шла через заливной луг, весь усеянный полевыми цветами — клевером, мятой, ромашками, колокольчиками, зверобоем и другими. Своеобразный аромат этих полевых цветов до сих пор волнует меня, вызывая воспоминания далекого детства. Мы переходили по мосткам маленькую речку и входили в наш сад, занимавший площадь в 8 десятин и состоявший из старых яблонь и грушевых деревьев. Весь сад был окаймлен аллеями столетних лип. Когда эти липы цвели, весь воздух был пропитан сладковатым, слегка одуряющим ароматом и наполнен гудением пчел, слетавшихся со всей округи. В центре этого сада, на невысоком холме, были построены барский дом и службы.

Наше имение принадлежало когда-то гетману Хоткевичу и по наследству переходило его родственникам. Отец приобрел его от правнуек гетмана — двух старушек, доживавших свой век в разоренной усадьбе, Старушки были настолько дряхлые, что уже давно не занимались хозяйством, сдавали всю землю в аренду крестьянам и в конце концов попали в лапы к уже упомянутому мною Карпею, снявшему все имение и окончательно его разорившему. Хотя за имение отцом были уплачены большие деньги, но почти все они пошли на погашение первой и второй закладных и на долю старушек пришлось всего лишь несколько сот рублей. Продав имение, старушки все таки из него не выезжали, не освобождали полуразрушенного дома и говорили, что у них нет ни родных, ни друзей и деваться им некуда. Чтобы въехать в свой дом, отцу, пришлось построить для старушек избушку, которую он им и предоставил пожизненно.

После этого началась постройка нового дома. Дом был построен очень солидно, на цементном фундаменте с полуподвальным этажем, в котором помещались кухни, комнаты прислуги, прачечная и подвалы для хранения фруктов и овощей. Сам дом — одноэтажный — был сложен из кирпича и состоял из 18-ти больших и высоких комнат. Самыми большими были — гостиная, столовая и зимний сад. Таких домов в округе не было, и все соседи приходили смотреть на постройку и недоумевали, зачем отец строит такой „дворец“?

Дом был готов к осени. К этому же времени были

снесены старые и построены новые службы — конюшня, каретный сарай, амбар, ледник и отдельный домик для садовника. В полуверсте от усадьбы начиналась дубовая роща и на опушке ее был выстроен скотный двор.

Перед домом был разбит большой круглый цветник, разделенный сходившимися в центре дорожками на четыре части. Вокруг цветника проходила утрамбованная щебнем дорога, спускавшаяся с холма и проходившая через весь сад к большому „тракту”. С обеих сторон подъезда возвышались два старых пирамидальных тополя, а за домом, в сотне шагов, могучий двухсотлетний развесистый дуб.

Все лето с железнодорожной станции привозилась из Петербурга мебель. Затем привезли экипажи, плуги, веялки и молотилки. Появились садовник — чех Франц Иванович, кучер Герасим, старики-повар Семен и лакей — Яков Лаврентьевич,

Наше имение было расположено между четырьмя деревнями — Залепеевкой, Лукьянинкой, Кореневкой и Мартыновкой. В самой большой из них — Мартыновке — было до сотни дворов, в Залепеевке и Кореневке — по двадцати, а в Лукьянинке не было и десяти. Скоро мы уже знали по именам всех окрестных крестьян, так как большинство из них работали у нас „на поденке”. За исключением кулака Карпя, который был очень обижен на новых помещиков, „отбивших” от него имение, все они относились очень дружелюбно к нам. А после того, как отец отдал лукьянинцам, не имевшим сенокоса, кусок заливного луга, а залепеевцам, не имевшим кладбища и хоронившим своих покойников в нашей дубовой роще, полторы десятины земли для погоста, отношения эти стали совсем дружескими. Поэтому у нас отбоя не было от желавших поступить к нам на службу. Из них взяли двух горничных, судомойку, черную кухарку и пастуха. Таким образом у нас составился большой штат из десяти человек прислуги.

На конюшне появились две пары выездных лошадей — вороные „Орлик” и „Ворон” и рыжие — „Джон” и „Буль”, серый рысак „Лебедь” и верховой конь „Кролик”. Мама очень любила ездить верхом. К ее большой радости „Орлик” оказался прекрасной верховой лошадью, быстро привык ходить под дамским седлом, и мама ста-

ла каждое утро выезжать на нем, совершая длинные верховые прогулки по всем окрестностям. Мне дали „Кролика”, с которым я очень подружился, но который для первого знакомства раза два сбросил меня в канаву. На скотном дворе появился страшный бык „Мишка”, которого я очень боялся, хотя он оказался совершенно безобидным и добродушным, и восемь породистых коров.

В конце сентября все было готово и мы окончательно переехали в новый дом, в котором я получил отдельную комнату с письменным столом и шкафом для моих книг.

Из нашей прислуги самыми почтенными были повар Семен и лакей Яков Лаврентьевич. Семену было более 60-ти лет. Он был еще крепостным князей Долгоруких. Замечательный повар и искусный кондитер, Семен, к сожалению, каждые два месяца запивал на 6-7 дней и в эти дни пропивал не только все свое жалованье, но и всю одежду. У нас он все таки прослужил три года, так как отец и мама жалели его. Когда на него нападал запой, Семен исчезал, и тогда все знали, что он не вернется ранее недели. Приходил он весь опухший от водки, небритый, грязный, в рваных, с чужого плеча, рубашке и брюках. Прежде всего ему давали опохмелиться — чайный стакан водки, потом отправляли в баню, подбирали для него из гардероба отца одежду — и вечером Семен уже готовил вкусный ужин, а для нас, детей, мастерил какое-нибудь удивительное пирожное.

Яков Лаврентьевич прожил у нас десять лет и мы привыкли к нему, как к родному. Он был моложе Семена, также служил лакеем у Долгоруких, но не поладил с управляющим и вернулся к себе в деревню. Прежде всего Яков Лаврентьевич потребовал, чтобы ему сшили две ливреи с гетрами — праздничную и будничную. Вызванный из Мартыновки портной Лейба, обшивавший всю деревенскую аристократию — священника, учителя, урядника и овseenковских дворян, сшил по его заказу и выбранному им фасону две ливреи, после чего Яков постоянно щеголял то в одной, то в другой из них. Уже через несколько дней Яков Лаврентьевич начал „наводить порядки”. Он ворчал на отца, на маму, на нас и на прислугу, распекая всех: отца — за брошенный на пол окурок, маму — за розлитый на новую скатерть чай, ме-

ня — за чернильное пятно на письменном столе. Мы все его побаивались, но затем так привыкли к его воркотне, что скучали, если Яков долгое время не делал кому-нибудь замечаний. Ворча на господ, он еще больше донимал прислугу, особенно наших неопытных деревенских горничных. Впрочем, скоро и горничные привыкли к его воркотне, особенно после того, как поняли, что старый ворчун Яков Лаврентьевич в сущности — добрейший человек. И ворчал Яков только для того, чтобы показать, что он опытный „камардин”, знающий, как нужно поддерживать порядок в „господском доме”.

9. ПОСАД КЛИНЦЫ

В восьми верстах от нашего имения находился большой и богатый посад Клинцы, называвшийся „Черниговским Манчестером”. В Клинцах было девять больших суконных фабрик, одна пенько-прядильная и несколько кожевенных заводов.

Хотя Клинцы и считались всего лишь посадом, но были гораздо больше всех трех соседних уездных городов — Суража, Новозыбкова и Стародуба. В посаде было отделение государственного банка, много магазинов, оптовых торговых складов и всякого рода предприятий. Несмотря на большое количество фабрик, на которых работало свыше 8000 рабочих, в посаде не было рабочего пролетариата. Все рабочие на фабриках были крестьянами и крестьянками соседних сел, откуда приходили на работу за 5 и 6 верст. Из ближайших к нашему имению сел — Мартыновки и Чернецкого — большая половина крестьян работала на Клинцовских фабриках. А в самых Клинцах жили только купцы и мещане, занимавшиеся торговлей, промыслами, скупкой скота, шерсти, кожи и пеньки для местных фабрик. Большая часть клинцовских обывателей были старообрядцами — беспоповцами. В Клинцах было четыре богатых старообрядческих молельни и всего лишь одна, очень бедная, православная церковь.

Клинцовские фабриканты являлись богатыми купцами, владевшими прекрасными домами, рысаками и экипажами. Большинство из них жило „по старинке” и по

„домострою”. Но старики умирали, а их наследники жаждали новшеств, ездили в Москву и Петербург, выбирали себе столичных невест и все больше и больше отходили от старины. Такими „модерными” купцами были братья Барышниковы и только что вступивший после смерти отца во владение большой суконной фабрикой молодой Сапожков. Другие, придерживавшиеся ста-ринки, фабриканты — Гусевы, Мошковы, Масалкины, не одобряли молодежи и держались от них в стороне. Поэтому Барышникова и Сапожкова заводили знакомства с чиновниками и помещиками, ездили к ним в гости и сами приглашали их на обеды и балы. Особенной роскошью отличались обеды и балы у миллионеров Барышниковых, приглашавших на них не только окрестных помещиков и местных чиновников, но и всю губернскую аристократию. Их дома были устроены совсем по столичному. Они держали дворецких, швейцаров, ливрейных лакеев, столичных горничных и поваров, которых переманивали из лучших московских и петербургских ресторанов.

Никакой общественной жизни в Клинцах не было. В большом и богатом посаде не было ни средних школ, ни клубов, ни библиотеки, не говоря уже о театре. Никакой труппе и в голову не приходило посетить этот настоящий медвежий угол. Клинцовские обыватели вставали еще до восхода солнца, отстаивали заутренни или обедницы в своих молельнях, из молелен шли в лавки, склады и конторы, где выпивали по несколько чайников чаю в прикуску и обязательно с блюдечек. Днем они плотно обедали, после обеда отдыхали, снова шли в лавки, а с наступлением сумерок возвращались домой и, поужинав, заваливались спать. Летом в десятом часу, а зимой уже в восьмом — весь посад спал мертвым сном, прикрывшись ставнями с железными болтами. Во всем посаде с его двенадцати-тысячным населением всего лишь 9 - 10 человек выписывали газеты, а книг, кроме божественных и в заводе не было.

Клинцовские обыватели так боялись всяких новшеств, что отнеслись враждебно даже к постройке железнодорожной линии Брянск — Гомель, прошедшей мимо Клинцов. Городская дума отказалась предоставить место для станции и на все уговоры строителей „отцы города” от-

вечали, что железная дорога им совсем не нужна и даже разорит промышлявших извозом купцов, зарабатывавших действительно большие деньги доставкой на фабрики тюков с шерстью и вывозом из посада кип с готовой мануфактурой.

В двух верстах от Клинцов находилось селение „Дурни“. Чтобы заставить клинцовцев добровольно предоставить железной дороге место под станцию, строители прибегли к хитрости. Они договорились с крестьянами Дурней и заявили, что станция будет построена около этой деревни и названа „Клинцовские Дурни“. Боясь осрамиться на всю Россию, клинцовцы уступили дороге участок городской земли. Станция была построена и названа „Клинцами“.

Чиновников, кроме почтмейстера, директора банка, бухгалтера и частного пристава, в Клинцах не было. Частный пристав — Савченко — был главным администратором посада. Но, завися от щедрот фабрикантов и купцов, он не проявлял никакого административного рвения. Мирно существуя, он передал фактическое исполнение своих обязанностей старшему городовому Бобрику, который и являлся настоящим клинцовским „гравданочальным ником“. И, если пристав получал щедрые дары от фабрикантов, то Бобрик обложил данью мелких купцов и ремесленников. А в результате и Бобрик и его начальник процветали и благоденствовали, на зависть другим приставам и урядникам.

Одновременно с имением, отец купил за глаза, никогда не видев его, дом в Клинцах. Покупка эта оказалась очень выгодной, так как дом находился на углу двух главных улиц и вскоре отцу предлагали за него вдвое больше того, что он заплатил. Но отец решил выждать, а до тех пор перестроил и приукрасил дом, ставший одним из лучших в посаде. Будучи клинцовским домовладельцем, отец стал гласным, а через год был избран городским головой. Как городской голова он должен был давать обеды, приглашая на них купцов и более влиятельных мещан. Так как клинцовский дом был невелик, то обеды эти устраивались у нас в имении. Иногда на эти обеды съезжалось до 50 - 60 гостей и наша большая столовая едва вмещала всех приглашенных. Скоро отец, мечтавший провести через управу ряд реформ и заняться благоустройством посада, убедился в том,

что не сможет побороть косность и упрямство своих сограждан и сложил с себя обязанности головы.

Вернувшись в деревню и продав клинцовский дом, отец занялся хозяйством, обратив особенное внимание на сад. Все вырученные от продажи клинцовского дома деньги пошли на разведение садов. Наш большой сад был очень стар, и многие яблони пришлось срубить и вместо них подсадить молодые. Одновременно все поле между „шляхом“ и старым садом было также превращено в фруктовый сад и через два года у нас было двадцать десятин сада. Сады эти были разбиты на участки, в каждом из них выкопан пруд и построен дом для садовника, для хранения и упаковки фруктов. Весной, когда цвели яблони и груши, сады наши были настоящим земным раем, а уже летом поспевали ранние сорта яблок и груш, которыми мы, дети, обедались. Осенью для сбора урожая приходилось нанимать до ста поденных рабочих, и громадные горы антоновских яблок возвышались около домов садовников, где они сортировались, упаковывались в ящики и целыми обозами выводились на станцию. Наши яблоки славились в Киеве, Москве и Петербурге, так как большим преимуществом нашего предприятия являлось то, что весь урожай был одного сорта, а антоновские яблоки имели красивый вид, прекрасно выдерживали перевозку и сохранялись до самой Пасхи.

Летом сады нужно было сторожить, так как, несмотря на то, что вся падалица (созревшие до уборки урожая и падавшие на землю фрукты) отдавалась бесплатно всем окрестным крестьянам, находилось много охотников потрусить деревья и попользоваться оставшимися на деревьях яблоками.

Лучшими сторожами были наши собаки. Родоначальниками нашей собачьей семьи были великолепный водолаз „Руслан“ и огромный датский дог „Норма“. От них пошла замечательная порода полу-догов и полу-водолазов. Это были умные, сильные и громадные псы, великолепные сторожа, прекрасно охранявшие сад и усадьбу. Моими любимицами были золотистый „Капитан“ и тигровый „Ральф“, постоянно сопровождавшие меня на всех прогулках и часто ночевавшие, несмотря на строгое запрещение мамы, в моей комнате. Несмотря на тот

страх, который наводили эти собаки на всех „чужих”, они никогда никого не укусили, были очень ласковы и не лаяли днем на приходивших и приезжавших в усадьбу. И, если раздавался их лай, это означало, что они почуяли вора или подозрительного человека. А цыган, часто появлявшихся в нашей местности и славившихся тем, что прибирали все, попадавшееся им на глаза, наши псы чуяли за несколько верст.

Но, кроме собак, в каждом саду были сторожа. Одним из них был Лихоманов, ежегодно в конце мая появлявшийся в усадьбе и каждую осень куда-то исчезавший. Этот Лихоманов был очень интересный тип. В молодости он служил в 45-м Азовском полку, был фельдфебелем, участвовал в русско-турецкой войне, но на сверхсрочную службу не остался. После войны он начал странствовать по монастырям, обошел пешком всю Россию, от Соловецкого монастыря на севере до Ново-Афонского на Кавказе. Всякую работу он презирал и считал единственным подходящим для себя занятием — сторожить сады. За лето он зарабатывал несколько десятков рублей, отказывая себе во всем, а осенью, получив расчет, исчезал. Говорили, что всю зиму он пьянистует и нищенствует. Но, не желая ронять свой престиж, Лихоманов уходил на зиму за сотни верст от тех мест, где летом сторожил сады.

Лихоманов очень любил чай, но сахар считал непозволительной роскошью и пил чай „в приглядку”: вешал на ниточку огрызок сахара и, поглядывая на него, прихлебывал жидкий чай. Поступая сторожем, он требовал, чтобы ему выдали свисток и бляху с надписью „половой сторож”. Без этой амуниции он не соглашался исполнять своих обязанностей. Для жилья он строил шалаш из жердей и соломы, около шалаша пристраивал скамеечку и столик для чаепития. Я любил ходить в гости к Лихоманову, слушать рассказы о его странствованиях по монастырям и всегда приносил ему в подарок чай и сахар. Чай он с благодарностью принимал, а от сахара отказывался, говоря, что не хочет привыкать „к баловству”. У Лихоманова были припасены для меня и моих сестер „гостинцы” — самые ароматные груши и яблоки, упавшие с тех деревьев, которые только он один знал.. Когда Лихоманов был в хорошем настроении и

„не скучал”, а скучал он довольно часто, борясь с искушением выпить водочки, то высыпал на своем свистке песни, целые арии и сигналы. Свои концерты он начинал с „наступления”, а кончал — повесткой на обед: „бери ложку, бери бак, нету ложки беги так”.

Лихоманов сторожил наши сады десять лет. На одиннадцатый год он не явился, как обычно, в конце мая и с тех пор пропал. Через несколько лет я узнал, что он замерз в пьяном виде где-то около Орла, до которого от нас было больше 200 верст.

10. ЧЕРНИГОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ

С 1896-го года мы прожили безвыездно шесть лет в деревне.

Меня начали готовить к экзамену в реальное училище. Каждую весну я сдавал экстерном экзамены в Киевском Реальном училище, переходя из класса в класс, пока в 1902-м году не поступил в это училище.

В 1897-м году к нам в имение приехал репетитор — Василий Андреевич, старый студент, не окончивший из-за чересчур активной политической деятельности университета, долго проживший за границей и вернувшийся в Россию с гораздо более умеренными взглядами. Василий Андреевич и гувернантка моих сестер — мадемуазель Можэ — явились новыми членами нашей семьи.

Эти шесть лет, прожитые в деревне, я вспоминаю всегда, как самые счастливые в моей жизни. Постоянное пребывание на воздухе, работа в саду, где Франц Иванович учил меня уходу за фруктовыми деревьями, далекие прогулки по полям и лесам, куда мы осенью отправлялись большой компанией за грибами, купанье и верховая езда чередовались с ученьем, которое давалось мне легко.

Между нашей усадьбой и соседними деревнями установились постоянные сношения. Мама, в свое время окончившая Педагогические и Медицинские курсы, лечила всех больных. У нее были постоянные пациенты. Приходили крестьяне, порезавшиеся на косовице или поранившиеся в лесу, бабы со всевозможными болезнями, но всего больше приносили детей — с боляч-

ками, ожогами, ушибами, а иногда и с серьезными детскими болезнями. В таких случаях запрягался экипаж, и кучер Герасим отвозил ребенка с матерью в Клинцы, к доктору.

Мама горевала, что ни в одной из соседних деревень не было школы и что все крестьянские дети были неграмотными. Она постоянно уговаривала крестьян открыть хотя бы одну школу на все четыре деревни. Но мужики, соглашаясь из вежливости с мамой, что учить ребят нужно, на самом деле не сочувствовали этой затее. Когда же мама стала особенно наседать на них, „дядьки“ заявили, что для ученья ребят нужна школа, помещений для нее ни в одной деревне нет, а чтобы построить школу нужны „гроши“, которых у них тоже нет. Тогда отец подарил бревна и весь, необходимый для постройки материал. Осенью школа была построена в Мартыновке и в ней началась учеба. После этого к нам явились делегаты из всех четырех деревень, заявившие, что теперь нужно построить и церковь, так как до ближайшего храма в Чернецком, от Залепеевки шесть верст. Отец пожертвовал на эту цель 1000 рублей, с условием, что крестьяне соберут между собой остальные, необходимые для постройки деньги и отведут под церковь и дом священника участок земли.

Пришлось еще хлопотать о разрешении открытия нового прихода в Мартыновке, против чего возражали благочинный и чернецкий священник. В конце концов архиерей дал разрешение, церковь была построена и через год освящена. На освящение приезжал черниговский архиерей с многочисленным духовенством и все они прожили два дня в нашем имении.

Самым большим моим деревенским удовольствием были прогулки за грибами. В нашем имении было две рощи: дубовая, рядом со старым садом и березовая, в полуверсте от дубовой. В дубовой роще было старое кладбище, на котором залепеевцы хоронили раньше своих покойников. На этом кладбище была могила гетмана Хоткевича, очень запущенная, которую мы привели в порядок: поставили новый дубовый крест и обсадили кустами сирени, жасмина и многолетними цветами. В той же роще были „шведские могилы“ — два высоких кургана, в которых, по преданию, были похоронены убитые

во время войны 1708 - 9 г.г. шведские солдаты. Грибов в дубовой роще было мало, в бересковой — попадались подберезовики и подосинники. Поэтому мы ходили за грибами в казенный лес, находившийся в трех верстах и тянувшийся до самых Клинцов.

Как сейчас помню эти „грибные походы”.

Ясное погожее сентябрьское утро. Солнце заливает своими лучами все прогалинки и верхушки пожелтевших деревьев, листья которых отливают старым золотом и бронзой. Но солнышко уже не припекает, а только ласкает, и из леса тянет холодком. Свернув с дороги, идешь по мягкому мху и свеже-опавшим листьям. Резкий запах смолы, когда проходишь мимо сосен, и легкий, но приятный прели, смешанный с ароматом вереска, папортников, чеберяка и дикого чеснока, пьянят, подбадривает и манит все дальше и глубже в чащу. Местами нужно нагибаться и раздвигать руками ветки, так как лес становится гуще. Но вот внезапно открывается прелестная полянка. На темно-зеленом мху ярко горят красные шапки мухоморов, а за семьей мухоморов глаз еще издали видит полуприкрытые листьями коричневые шапочки молодых белых грибов. Белые грибы редко растут в одиночку, больше — семьями. Найдя первый гриб, нужно присесть на землю и внимательно осмотреть всю полянку и прилегающую к ней опушку леса. И через несколько минут корзина полна грибов. Еще две-три таких полянки и можно возвращаться домой. Но по дороге попадается молодой ельник. Как не заглянуть в него? И в самом деле — он полон грибов, да каких! Чтобы освободить для них место в корзинах, присаживаешься на траву, вынимаешь складной нож и начинаешь чистить собранные грибы, отрезая нижние концы ножек и выбрасывая более старые и мягкие. И наконец обе корзины тую набиты самыми лучшими, крепкими и молодыми боровичками. Нужно идти домой, а не хочется! Кажется, что просидел бы в этом ельнике до самой ночи. Долго нежившись на мягкой постели из мха, густой лесной травы и опавших листьев. Но солнце начинает склоняться, а до дому целых три версты. На сегодня — довольно, а завтра мы опять придем сюда. И такие походы „по грибы” продолжались у нас до самых первых утренников.

К трем моим влечениям — морю, паровозам и солдатикам — прибавилось четвертое — лес. Судьбе было угодно свести меня вновь с лесом уже в эмиграции. Через 25 лет после того, как я собирал грибы в Черниговском Полесье, я сделался лесопромышленником на Подкарпатской Руси, где тоже собирал грибы, на этот раз в Карпатских лесах. А еще через 15 лет новая война и новые мытарства забросили меня в немецкие леса на „Хунсрюке” — горном массиве между Рейном и Мозелем, где я не только заготовлял бревна и телефонные столбы, но также ходил по грибы, научив немцев, очень боявшихся ядовитых грибов, собирать белые грибы, отличая их от похожих на боровиков „сатан пильцен”.

Любил я также ездить на ярмарки, которые летом и осенью бывали в соседнем уездном городке Стародубе, посаде Климове и находившемся в ста верстах от Клинцов большом городе Гомеле.

Ярмарки в Стародубе и Климове очень напоминали Гоголевскую „Сорочинскую ярмарку”. Те же телеги и „биндюги” с привязанными к ним, приведенными на продажу лошадьми и волами. Те же „гончары” с макитрами и горшками. Те же „москали” с красным товаром и лубочными картинками и те же парубки и дивчата с полными „кишенями” тыквяных и подсолнечных семячик. Гомельская ярмарка отличалась от Стародубской и Климовской как большим числом пригоняемого на продажу скота, так и совершенно другими ярмарочными гостями — солидными купцами, богатыми мещанами и юркими „мишурисами” — евреями посредниками.

В Гомель нужно было ехать по недавно построенной от Брянска до Бреста Полесской железной дороге. Дорога эта была „своя”, какая-то домашняя и уютная. И, когда мы, приезжая из Петербурга или Нижнего, пересаживались в Гомеле или Брянске на эту дорогу, то чувствовали себя уже дома.

На станцию приезжали по крайней мере за пол часа до прихода поезда. Клинцовский вокзал был построен по типу „больших станций”, которых между Брянском и Гомелем было всего три: Почеп, Клинцы и Новозыбков. Он отличался от других станций тем, что был каменный, а не деревянный и что рядом с залом 3-го класса находился „буфет 1-го и 2-го класса”. В буфете, в

особой нише, помещался прилавок буфетчика с неизменными слоеными пирожками, бутербродами, графинами с двумя сортами водки и огромным ведерным самоваром. По середине зала стоял длинный стол, покрытый не совсем чистой скатертью, на котором красовались в зеленых кадках две искусственных пальмы. Чистая публика, чтобы не смешиваться с пассажирами третьего класса, поджидала поезд в буфете, закусывая у прилавка, или попивая за столом чай. Когда длинная трель станционного колокола извещала о выходе поезда с соседней станции „Песчаники”, пассажиры начинали суетиться и торопились выйти на платформу, на которой появлялся жандарм в синем мундире с красными аксельбантами и нафабренными усами. Через двадцать минут раздавался свисток и небольшой трех-осный паровоз, попыхивая и пофыркивая, устало подкатывал состав из шести вагонов: синего — первого класса, в котором никогда не было пассажиров, желтого — второго класса и четырех зеленых — третьего. После десяти — минутной стоянки и старательно отрезвоненных сторожем трех звонков, начиналась продолжавшаяся минуты две перекличка молодцеватого обер-кондуктора в кафтане с серебряным позументом (в отличие от простых кондукторов) с паровозом. Сначала „обер” давал длинный свисток, на который паровоз отвечал коротким гудком. Потом он давал короткий свисток, а паровоз отвечал длинным гудком. После такой переклички слабосильный паровоз, казавшийся карликом рядом с проходившими через Гомель коломенскими паровозами Либаво-Роменской дороги, с трудом трогал поезд с места и, не спеша, чтобы дать время стрелочнику три раза протрубить в рожок, подвозил его к выходной стрелке. Миновав стрелки, паровоз прибавлял ходу и, выпуская из своей, расширявшейся воронкой кверху, трубы клубы желтого дыма, „мчался” со скоростью тридцати верст в час к следующей станции — Новозыбкову. Так как та-же самая процедура повторялась и на всех следующих станциях — Новозыбкове, Злынке, Добруше и Новобелице, то путешествие до Гомеля продолжалось более трех часов.

В Гомеле, обойдя ярмарку, мы обязательно осматривали стоявший на высоком берегу. Сожа дворец князя Паскевича и памятник Понятовского, вывезенный фельд-

маршалом Паскевичем из Ново-Георгиевска.

Каждое лето у нас в имении гостила бабушка со своей семьей. На моей обязанности было встречать бабушку на станции. Бабушка приезжала в салон-вагоне нижегородского губернатора, который прицеплялся к хвосту поезда. Прибытие в Клинцы салон-вагона являлось сенсацией. Начальник станции встречал поезд в белых перчатках, которых он обычно не одевал. О прибытии „генеральши“ он заранее извещал клинцовских администраторов и на платформе появлялись пристав Савченко и его помощник — старший городовой Бобрик, суетившийся и пытавшийся навести порядок среди поджидавших поезд пассажиров.

С мной обычно увязывался и наш казачек — Кондратка, мой сверстник и товарищ по играм. Кондратка — круглый сирота, как-то забредший в нашу усадьбу и так в ней и оставшийся, лопался от важности, участвуя в такой торжественной встрече. Он хлопотал больше всех, перетаскивая из вагона в экипаж бабушкины чемоданы и баулы. Но и я, не меньше Кондратки, гордился этой парадной встречей и тем, что принимаю в ней такое активное участие.

11. ЗИМА В ДЕРЕВНЕ.

С наступлением зимы прекращались далекие прогулки за грибами, работа в саду и верховая езда. Зато начались зимние развлечения, имевшие свою особую прелесть.

Прежде всего устраивалась ледяная горка для катания на салазках. Для этого мы с Кондраткой несколько дней подряд обливали водой спускавшуюся под горку дорожку от дома к купальне. И через неделю у нас была великолепная горка, по которой салазки катились почти полверсты, до самой речки. На этой горке мы пропадали часами, пока ворчун Яков Лаврентьевич не загонял нас домой на обед. Возвращались мы раскрасневшиеся и с волчьим аппетитом.

По воскресеньям ездили на тройке в Мартыновку, в церковь, а иногда запрягались двое дровней и на них вся наша компания, с мадемуазель Може и Василием Андреевичем, совершали длинные поездки по окрестностям. Ког-

да в дровни запрягали рысака „Лебедя”, он далеко обнял вторые дровни. Ездить на „Лебеде” было очень приятно, но его было трудно сдерживать. На поворотах сани раскатывались и часто седоки горошком выкатывались в снег. Но падать в снег было совсем безопасно и это вызывало лишь веселый смех, особенно когда выкатывалась в сугроб мадемуазель Може, испускавшая от страха громкие крики.

Нас часто приглашали на деревенские свадьбы. Приглашать являлись жених и невеста, приносившие при этом большой каравай белого хлеба, украшенный „стрелками” — палочками, обвитыми золотой, серебряной и разноцветной бумагой. Мы никогда от таких приглашений не отказывались, но отец и мама редко ездили на свадьбы и посыпали меня с старшей сестрой. Мы приезжали в хату невесты и участвовали в свадебном поезде, провожая жениха и невесту до церкви. Лошади поезжан были украшены лентами и бубенцами и у всех рукава кожухов были обвязаны пестрыми платками. Из церкви мы опять сопровождали новобрачных до избы родителей невесты. Отец и мать встречали их с иконой, а дружки обсыпали житом и овсом. Потом начинался свадебный пир. Молодые обходили всех гостей, начиная с самых почетных, и подносили им с низким поклоном чарку водки и вышитое полотенце. Гость вставал, принимал чарку и провозглашал: „Жалую князя и молодую княгиню теленком (или мешком жита) на здравие и на многая лета”. Мы никогда до конца пира, затягивавшегося иногда до первых петухов, не засиживались и, одарив молодых подарком и деньгами, возвращались домой. Но нас не отпускали прежде, чем поподчивать всеми заготовленными явствами и заставляли брать с собой „гостинцы”.

Зимой мы каждое воскресенье „выпускали” рукописный журнал „Воскресные мысли”. Наш журнал выходил в одном экземпляре и был невелик — всего восемь страницочек обыкновенной ученической тетради. На первой странице я рисовал какую нибудь карикатуру на тогдашние политические злобы дня, но т. к. в политике я не разбирался, то злобами дня для меня являлись только военные события — испано-американская или англо-бурская война. Две — три страницки были отведены „поэзии”, состоявшей из подражаний известным поэтам, в которых уп-

ражнялись мои сестры. Но иногда в этом отделе появлялись и злободневные вирши.

В следующем „отделе” поменялся какой нибудь рассказ, над которым я трудился целую неделю. Лучше всего мне удавалось описание деревенского быта — крестьянские свадьбы, ярмарки, храмовой праздник или пожар в деревне. В заключение — на последней странице — помещались шарады и задачи, преимущественно географические. Журнал давался на прочтение только подписчикам. Когда все домашние подписчики прочитывали его, очередной номер высыпался по почте бабушке и дяде Алеше, поэтому у меня не сохранилось ни одного из выпущенных нами за два года 38-ми номеров „Воскресных мыслей”.

Большим событием в нашей деревенской жизни являлось празднование Пасхи. С начала страстной недели вся усадьба готовилась к празднику. Наш старый ворчун — Яков Лаврентьевич — чувствовал себя диктатором, все распоряжения которого беспрекословно исполнялись не только всей прислугой, но даже нашими родителями. И только няня Арина Петровна не подчинялась грозному диктатору, спорила с ним и самостоятельно распоряжалась на кухне и в столовой.

Вход в большую столовую был строго воспрещен. Мы могли любоваться длинным столом, покрытым белоснежной скатертью и заставленным окороками ветчины и телятины, высокими куличами и разными закусками, только когда распахивались двери и Арина Петровна вносила в столовую очередное огромное блюдо.

Хотя семья наша была невелика, но розговены заготовлялись на сотню людей. Ведь три дня на кухне ничего готовиться не будет. А все эти три дня гости с утра до вечера будут приезжать и приходить с поздравлениями. У нас было принято, что все поздравители непременно приглашались в столовую. Наши соседи — крестьяне Залепеевки и Лукьянинки — сначала стеснялись и ни за что не хотели садиться за стол вместе с „панами”. Со временем они все-же привыкли и, похристосовавшись с мамой и отцом и покрестившись на образа, садились на краешек стула, выпивали рюмку — другую водки и с аппетитом закусывали. А закусывать, слава Богу, было чем: ведь у нас все было свое и, кроме водки и вина, в городе к пра-

зднику ничего не покупалось.

Кучер Герасим выкатывал из каретного сарая большую коляску и шарабан. Хотя в Мартыновку к заутрене нужно было ехать проселком, по непролазной грязи и никакого смысла мыть экипажи не было, Герасим все-же обливал колеса водой и мыл подножки и крылья коляски. Я вертелся около Герасима, с нетерпением поджидая, когда он кончит мыть экипажи и пойдет в конюшню чистить лошадей. Тогда и мне разрешалось чистить моего „Кролика”, расчесывать его гриву и заплетать ее в косички. „Кролик” не любил скребницы, прижимал уши и скалил зубы. Но, получив несколько кусков сахару, он уже не сердился и позволял мне заплеть ему гривку.

Ужинать в страстную субботу не полагалось и нас еще засветло посыпали выспаться перед заутреней. Конечно мы от волнения не могли заснуть и часа через два снова появлялись в гостинной или в „зимнем саду”, мешая взрослым, особенно Якову Лаврентьевичу, зорко следившему за тем, чтобы мы не насорили в блиставших чистотой комнатах. Так как делать нам было нечего и нашу работу — окраску яиц — мы закончили еще накануне, то время тянулось для нас бесконечно. Но вот, наконец, мадемузель Може уводила моих сестер одеваться, а я шел облачаться в новенький костюм реалиста, которым очень гордился. Темно-зеленый сюртучек с позолоченными пуговицами и тонким золотым позументом на стоячем воротнике казался таким нарядным! Больше всего нравилась мне белая муаровая подкладка, которую я, к неудовольствию отца, купил в Клициах и передал портному Лейбе, в замен полагавшегося по форме черного ластика.

Герасим подкатывал к крыльцу запряженную четверкой коляски. Конюх Андрей стоял сзади с шарабаном. В коляске должны были ехать мама, сестры и мадемузель Може. А я с репетитором Василием Андреевичем, садовником Францем Ивановичем, Яковом Лаврентьевичем и коим неразлучным другом — Кондраткой — ехали в шарабане. Отец, прихварывавший всю зиу, оставался дома.

Мы с Кондраткой первыми забирались в шарабан и с нетерпением поджидали маму и сестер. Но девченки, как всегда, опаздывали, вертелись перед зеркалом и как будто нарочно испытывали наше долготерпение. Нако-

нец девочек уводили от зеркала и дамы рассаживались в коляске. Герасим подбирал возжи и коляски, подхваченная четверкой сытых лошадей, выезжала на „шлях”. Не понимаю, как мог Герасим видеть дорогу и объезжать огромные лужи, чтобы не забрызгать грязью своих пассажиров. Ночь была так темна, что я с трудом угадывал силуэты хорошо знакомых старых лип и „шведских могил”, мимо которых мы проезжали.

Вскоре мы начинали обгонять шедших к заутрене соседей — крестьян Залепеевки.

— Эй, Гараська, смотри в оба: не выверни панов! — кричали, здороваясь с нами, бабы.

— А ты, тетка, сворачивай с дороги, не то — всю тебя грязью обляпаю, — отвечал Герасим, замахиваясь кнутом.

Но вот и Мартьяновка. Церковная ограда ярко освещена двумя пылающими смоляными бочками. На „цвинтаре” собирались парни и девчата. Они весело переговариваются и не торопятся в церковь. Там батюшка, отец Александр, еще исповедывает стариков и старушек, которые по старости лет и немощам своим не могли отговеться на страстной неделе. Понемногу церковь наполняется народом. По правую сторону становятся мужики, по левую — бабы и девчата. Все одеты по праздничному. Запах нового ситца, из которого сделаны обновки женщин, и дегтя, которым густо смазаны сапоги мужиков, смешивается с благоуханием ладана и восковых свечей. У самого правого клироса, впереди крестьян, собирались наши дворяне из Овсеенкова хутора.

Церковный староста — „Иван Великий”, прозванный так за свой огромный рост и действительно напоминающий колокольню, принарядившийся по случаю праздника в мундир л. гв. Кексгольмского полка, в котором он когда-то служил, проводит нашу компанию на левый клирос, где нас встречают матушка, жена отца Александра, и хорошенькая поповна Паша, которую я тогда считал самой красивой девушкой в мире. Плащаница вносится в алтарь и начинаются приготовления к крестному ходу. Отец Александр вручает мне образ Воскресения, и я гордо выступаю впереди крестного хода.

„Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангели поют на небеси,

И нас на земли сподоби
Чистым сердцем Тебе славити..."

стройно поют управляемые сельским учителем певчие. И вскоре, перед закрытыми дверями церкви раздается так долго жданное и волнующее — „Христос воскресе из мертвых”...

Быстро и незаметно кончается заутреня и начинается христосование. Надо похристосоваться не только со своими — с мамой, сестрами, мадемуазель Можэ, Яковом Лаврентьевичем и Кондраткой, но также и с чужими — батюшкой, матушкой, хорошенькой Пашей и со всеми знакомыми мужиками и бабами. Уже светает, когда мы выходим из церкви и, провожаемые поздравлениями расходящихся крестьян, едем домой. Весело и радостно гудят колокола, которые будут так трезвонить целых три дня. Все парни из четырех деревень должны подняться на колокольню и оттрезвонить. Кондратка чуть ли не первым побывал на колокольне и я ему так завидую: меня туда не пустили...

В 1901-м году нас постигло большое несчастье. Все свои деньги отец вложил в какой-то частный банк, во главе которого стоял почтенный генерал Г... Директора этого банка, как оказалось впоследствии, спекулировали на бирже деньгами вкладчиков. Благодаря неудачной спекуляции директоров — банк „лопнул” и вкладчики разорились. Генерал Г... покончил самоубийством, а директоров судили и приговорили к ссылке в Сибирь на поселение, что отнюдь не спасло клиентов банка. Все наши деньги пропали, осталось лишь одно имение. А так как отец затеял новые постройки и перестройки, то пришлось имение заложить. Все эти неприятности так действовали на отца, что он заболел и скончался от паралича сердца. Незадолго до смерти отца мы похоронили деда, и мама тяжело переносила эти две потери.

Смерть отца была первой, которую мне пришлось увидеть. Помню охвативший меня ужас, когда, удивленный тем, что он в это утро так долго спит, я зашел в спальню и нашел его похолодевшим и бездыханным. Связанные с посещением смерти хлопоты и суетня не давали маме и мне времени предаваться горю, а участие прислуги, соседей и, особенно, нахлынувших в усадьбу крестьян — смягчали его. Похороны отца были очень

торжественные. Из Тульской губернии приехал брат отца. — дядя Саша Шепелев-Воронович. Дядя Саша был женат на единственной дочери генерала А. Д. Шепелева. Так как род Шепелевых после смерти А. Д. прекращался, то заслуженный генерал обратился к Государю с просьбой передать его фамилию мужу дочери. Поэтому дядя Саша и стал Шепелевым-Вороновичем. С ним приехала вся его семья, а из Петербурга — дядя Алеша. Посад Клинцы прислал депутатию с венком от городской думы. Собрались и все наши соседи, даже нигде обычно не показывавшийся Константин Ильич и тот пришел отдать последний долг соседу. Но самое большое участие в похоронах приняли крестьяне Залепеевки, Мартыновки и Лукьянинки. Все население этих деревень собралось проводить в могилу своего „пана“. Так как отец был строителем и попечителем Мартыновского храма, то по просьбе крестьян мама отменила свое решение похоронить отца на старом Залепеевском кладбище, т. е. в нашей дубовой роще. Крестьяне вырыли могилу с правой стороны алтаря, в которую и опустили гроб отца. А на следующий год мартыновцы построили над могилой отца часовенку.

Наша веселая и беззаботная жизнь в деревне кончилась. Каждый день возникали все новые заботы и дежные затруднения, с которыми мама плохоправлялась. Пришлось изменить весь налаженный порядок, сократить штат прислуги и отдельные отрасли хозяйства. Из шести лошадей продали трех, оставив лишь „Орлика“, „Ворона“ и „Кролика“, со скотного двора продали „Мишку“ и шесть коров. Из прислуги остались лишь Яков Лаврентьевич, кучер Герасим, одна горничная и кухарка. Кондратка, конечно, тоже осталася, так как заявил, что никуда от нас не уйдет. Все постройки и перестройки были отменены. Чувствовалось, что мы недолго останемся в деревне. После смерти отца было решено, что я еще этой осенью поступлю в Киевское Реальное училище, а мама подумывала о переезде с сестрами на будущий год в Петербург, к бабушке.

Я готовился к отъезду и последние дни в деревне посвятил объезду верхом на „Кролике“ и обходу пешком дорогих мне лесов, полей, обеих наших рощ и сада. В первых числах октября меня снарядили в дорогу и я

с тяжелым сердцем уехал, первый раз в жизни, из родительского дома.

В Киеве я поселился у очень доброго и сердечного учителя Жолковского. Семья Жолковского состояла всего из трех человек — его самого, жены, симпатичной и сердобольной женщины, и сына Виктора, моего ровесника и одноклассника, с которым мы быстро подружились. Жили мы на Владимирской улице, близь Десятинной церкви. Жолковский и его жена понимали, как мне, только что пережившему такое большое горе, как смерть отца, тяжело привыкать к новой обстановке. Оба они ухаживали за мной, стрались развлечь и баловали. Тем не менее я очень скучал и хандрил. Каждое воскресенье за мной заезжал товарищ отца по лицою — А. П. Осипов, занимавший какой-то большой пост в Киевской судебной Палате. У Осипова был маленький, но уютный дом на Кирилловской улице, почти за-городом. Он был таким же любителем садоводом, как и отец. Дом его был окружен прекрасным садом, часть которого спускалась с довольно крутой горы. Остальная часть принадлежавшей Осипову горы была под лесом — дубовым и березовым. Владения Осипова напоминали мне деревню и я с удовольствием проводил праздники в его милой семье.

12. КИЕВ

С Киевом я познакомился еще в детстве. Наше Черниговское имение находилось в 250 верстах от Киева. А для пространств России это не являлось большим расстоянием. Поэтому я и мои сестры часто бывали в Киеве, где останавливались в гостинице „Метрополь”, на углу Фундуклеевской и Владимирской улиц. Гостинница эта помещалась в доме моего деда — Михаила Парфентьевича Вороновича. Вся наша семья могла бесплатно занимать лучшие номера в гостинице, и правом этим мы широко пользовались. Деда моего Михаила Парфентьевича, я помню плохо, так как встречались мы с ним редко. Помню только, что это был подвижной и бодрый старик, постоянно занятый разнообразными делами — скупкой и продажей пшеницы, домов и име-

ний и в конце концов на этих делах разорившийся. Умер он в конце девяностых годов в своем киевском имении Оратове, дожив до 85 лет.

В течение лета наша семья несколько раз приезжала в Киев, где производились все закупки для имения — сельско-хозяйственные машины, экипажи, сбруя и. т. п. Из нашей Залепеевки можно было ездить в Киев по железной дороге, через Гомель и Бахмач, или пароходом по Сожу и Днепру. Я больше всего любил поездки на пароходе. По Днепру и Сожу, Припяти и Десне ходили пароходы „Общества пароходства по Днепру и его притокам”. Вверх от Киева — в Могилев, Гомель, Пинск и Чернигов ходили сравнительно небольшие, а вниз — в Кременчуг и Екатеринослав — огромные (как мне тогда казалось) и красивые „салонные” пароходы.

Осенью, по окончании полевых работ, шедшие в Киев пароходы были переполнены богомольцами, со всех концов России съезжавшимися в Киев для поклонения мощам Печерских угодников. Для богомольцев был установлен льготный тариф и они платили в третьем классе вместо 75 копеек — двадцать, а те, которые размещались на палубе — всего пять копеек.

Путешествие из Гомеля по Сожу и Днепру продолжалось 36 часов. Дорога не была особенно живописной: берега Сожа заросли сплошным лесом, а по берегам Днепра расстилались заливные луга. Только близь Киева этот однообразный ландшафт менялся и на правом берегу Днепра появлялись невысокие горы. Расположенные по Днепру небольшие города и mestечки — Лоев, Радуль, Любеч — не отличались ни красотой, ни богатством. И все таки ехать на пароходе было много приятнее, чем в душном железнодорожном вагоне.

Когда пароход отчаливал от Межигорья — последней пристани перед Киевом — открывался великолепный вид на этот древний город. А, если мы подходили к Киеву вечером, то еще издали видели сиявший десятками электрических лампочек крест в руках св. Владимира на памятнике, возвышавшемся над Киевом на Владимирской горке.

Мои детские впечатления от Киева ограничиваются Софийским собором, памятником Богдану Хмельницкому, Золотыми воротами и Киево-Печерской лаврой.

От пещер лавры у меня осталось неприятное, жуткое воспоминание. Когда монах-проводник ввел нас в узкую, темную, освещенную только копеечной свечкой в его руках, пещеру, мне стало страшно. Тяжелый, спертый воздух пещеры теснил грудь, я стал задыхаться и меня вывели на воздух, где я долго не мог оправиться от страха и отышаться. И только через несколько лет, будучи уже учеником реального училища, я решился вторично посетить пещеры и осмотреть их более внимательно. Но и на этот раз я вынес из них такое же неприятное впечатление.

Зато я был вознагражден любопытным зрелищем — тысяч собравшихся сюда со всей России богомольцев. Каких только типов не было среди них! Большая часть состояла из пожилых крестьян — мужиков и баб, с трогательной и глубокой верой поклонявшихся святым угодникам. Встречались и молодые крестьянские девушки, также искренне верившие, что Печерские чудотворцы и великомученица Варвара, моши которой поклонились в Софийском соборе, исцелят их сердечные раны или замолят казавшиеся им такими великими и страшными грехи молодости. Но наиболее интересными были странники и странницы, по обету или по привычке колесившие по всей России, начиная с дальнего севера — Соловецкого и Валаамского монастырей и кончая Кавказским Новым Афоном. Многие из них производили приятное впечатление опрятных, чисто одетых старичков и старушек, кротко улыбавшихся, вежливо благодаривших за „милостыньку“ и охотно рассказывавших любопытствовавшим о тех святых местах, в которых Господь сподобил их побывать. Другие, напротив, вызывали отвращение своими грязными рубищами, мрачными взглядами провалившихся глаз и настойчивыми требованиями подачек. Были и своего рода „спекулянты“ — опустившиеся и пропившиеся „бывшие люди“, поправлявшие свои дела щедрыми подаяниями богомольцев, которым они рассказывали всякие небылицы о городах и монастырях, в которых никогда не бывали. Мне особенно запомнился старый николаевский солдат, участник Севастопольской обороны, которого я не раз встречал на паперти Софийского собора и в Печерской лавре. Одетый в поношенное, но тщательно заплатанное крестьянское платье, с меда-

лями на груди и большим мешком через плечо, старичек этот никогда не обращался с просьбой о подаянии, стоял, опершись на свой посох и приветливо улыбался, когда встречался глазами с посетителями собора. Я даже знал его биографию, о которой он мне однажды поведал. Последний раз я видел его незадолго до войны. Он был уже очень слаб, с трудом передвигался, но попрежнему кротко сияли его выцветшие голубые глазки, а пушистые белые волосы, обрамлявшие полысевшую голову, казались сиянием, изображаемым на иконах над головами святых.

Позднее, когда я стал ежегодно приезжать в Киев сдавать экстерном экзамены в Киевском реальном училище, я более подробно познакомился с Киевом.

В отличие от строгого, подтянутого Петербурга, Киев был веселым и каким-то беспечным городом, все жители которого казались довольными и счастливыми. Киевляне в действительности отличались веселым характером и все свое свободное время проводили на бульварах, улицах и в тенистых садах. В Киеве был свой „Невский“ — широкий и чистый Крещатик с шикарными ресторанами, кондитерскими и магазинами. Витрина киевского ювелира Майкапара могла бы свободно конкурировать с лучшими ювелирными выставками на Пятом Авеню в Нью Йорке. Но и на Крещатике публика отличалась от чопорной петербургской своеобразной экспансионистской и непринужденным весельем.

Экзамены в реальном училище начинались в мае, когда Киев утопал в зелени и весенний ветер разносил по городу благоухание расцветавшей в Царском и Ботаническом саду сирени, а немного позднее сладкий запах цветущих лип, которыми были обсажены большинство киевских улиц. Трудно было в такое время долго сидеть над учебниками и я, после недолгой борьбы с самим собою и с Василием Андреевичем, которого также тянуло из номера гостиницы на улицу, выбегал на Крещатик, садился в трамвай и ехал в Купеческий сад. Там я слушал музыку, наслаждался быстро наступавшей южной ночью с бархатным небом и ярко сиявшими на нем звездами, а иногда заходил в летний театр, где гастролировала труппа Кропивницкого с знаменитой тогда Заньковецкой.

Выдержав экзамены, я мог еще несколько дней пробыть в Киеве. И тогда я проводил все дни на улицах или

в окрестностях Киева. До 12-ти часов дня я гулял по Крещатику и по „Липкам” (самой гристократической части Киева, с красивыми особняками и дворцом генерал-губернатора). Гуляя по Крещатику, я обязательно заглядывал в кондитерские Семадени и Франсуа. У Семадени подавали восхитительный шоколад со сбитыми сливками, и тающими во рту пирожными. А у Франсуа было такое дивное мороженое, которого я после нигде и никогда больше не пробовал.

Обедали мы с Василием Андреевичем в маленьком ресторанчике на Думской площади, где подавался чудный украинский борщ. А после обеда я закатывался до позднего вечера или на Подол, в Святошино, или катался на пароходе по Днепру и Десне.

Хотя самой благоустроенной была верхняя часть Киева с Крещатиком, Владимирской и Фундуклеевской улицами, Бибиковским бульваром и Липками, но более оживленным и торговым считался Подол — нижняя часть города, расположенная у подножья Киевских высот, на берегу Днепра. На Подоле, кроме пристаней и обширных складов, находились отделения и магазины всех больших киевских фирм и целый ряд лавок мелких торговцев. Приезжавшие в Киев из провинции купцы, помещики и чиновники делали все свои закупки на Подоле. Да и многие киевляне, особенно ремесленники, мастеровые и рабочие, предпочитали лавочки подольских евреев магазинам в верхней части города.

Я любил ходить на Подол и наблюдать жизнь речной гавани, встречать и провожать Екатеринославские и Черниговские пароходы. Особенно интересно было смотреть, как разгружались баржи с „кавунами” (арбузами). Длинной цепью — от трюма баржи до склада на набережной — становились грузчики и, как мячики, бросали один другому большие зеленые с черными полосами арбузы. Иногда, по взаимному сговору, наиболее спелые „кавуны” падали на мостовую и трескались. Тогда они поступали в пользу артели и в обеденный перерыв грузчики, закусив „мерзавчик” водки таранкой, наслаждались сочным кавуном с ситным или пеклеванным хлебом.

Трамваи в Киеве появились за несколько лет до петербургских. И в то время, как петербуржцы ездили еще на патриархальной конке или „сорока мучениках”, киев-

ляне катались в быстрых трамваях. Главная трамвайная линия проходила по всему Крещатику, от Демиевки до Царского сада. От Царского сада начиналась подольская линия, спускавшаяся на Подол и продолжавшаяся дальше до конца Кирилловской улицы. Трамвай соединял также Крещатик по Фундуклеевской улице и Бибиковскому бульвару с вокзалом. И еще одна трамвайная линия проходила по всей Владимирской улице, мимо Университета и Ботанического сада. Прогулки на трамвае доставляли мне большое удовольствие и, благодаря им, я знакомился с Киевом. А так как ученики гимназий и реального училища пользовались льготой и вместо пяти копеек платили только три, то я по нескольку раз в день обезжаю весь город, подымаясь до вокзала и Демиевки и спускаясь до конца Кирилловской улицы.

Я очень любил Кирилловскую улицу, где часто посещал друга нашей семьи — члена судебной палаты А. П. Осипова, о котором уже говорил. Дома на Кирилловской не выходили на улицу, а стояли в глубине садов, тянувшихся сплошной стеной по всей улице. Поздней весной и ранним летом ветки деревьев, усыпанные крупными черешнями и вишнями свисали на улицу, прямо на головы прохожих.

В отличие от петербургской, уличная жизнь Киева казалась более шумной и оживленной, особенно летом. Я уже говорил, что киевляне, как и все южане, любили уличную жизнь. С начала мая рестораны и кондитерские выставляли столики на тротуары и публика обедала, пила кофе и ела мороженое на улице, чего нельзя было себе представить в Петербурге. Другой особенностью киевских улиц были многочисленные киоски, в которых продавалась содовая вода с апельсиновым, лимонным или малиновым сиропом, а также известный напиток „Фиалка”, появившийся впервые в Киеве и распространившийся отсюда по всему югу России. Зимой на Крещатике встречалось меньше флантирующей публики и только в феврале, во время знаменитых „Контрактов” (второй в России по оборотам, после Нижегородской „Макарьевской”, ярмарки) — Крещатик и, особенно, Думская площадь кишили народом всякого звания и национальности, начиная со степенных сибирских старообрядцев и кончая юркими и подвижными кавказцами, армянами, греками и персами.

Редкий киевлянин не посещал в летние вечера Купеческого сада и „Шато-де-Флер” — увеселительных садов на возвышавшейся над Днепром горе, близь Царского сада и Крещатика. Не только состоятельные, но и бедные киевляне наслаждались в этих садах вечерней прохладой и доносившимся с Заднепровья ароматом свеже скошенного сена. Разница заключалась лишь в том, что богатые сидели на террасах ресторанов, а бедные — на скамейках сада.

Не могу не вспомнить знаменитого Бессарабского базара или „Бессарабки”, известной своими „обжорками” — будками, в которых бабы торговали всевозможными закусками и горячей едой. Знаю, что многие относились с предубеждением против таких „обжорок”. Но смею уверить этих брезгливых людей, что нигде нельзя было поесть такого вкусного борща и вареников с творогом и, особенно, с вишнями, как на „Бессарабке”. Приготовлялись эти вкусные блюда опрятными и смешливыми „хочлушкиами” (да простят мне украинцы это слово, но в то время не только „москали”, но и сами украинцы называли себя „хочлами”), быстро и весело обслуживавшими своих клиентов с остроумными прибаутками, а молодых „паничей” с теплой материнской лаской. И сколько бедных студентов и семинаристов пользовались кредитом у этих теток Горпин, Марусей и Явдох, никогда не напоминавших клиентам о задолженности и не укорявших их за неплатеж.

13. „КИЕВСКОЕ СЛОВО”.

В начале девяностых годов в Киеве издавались три ежедневных газеты: „Киевлянин”, „Киевское Слово” и „Жизнь и Искусство”.

„Киевлянин” — консервативный орган проф. Пихно и Шульгина — не пользовался большой любовью киевлян, так как занимался вопросами „большой политики” и уделял мало места обычательским злобам дня, которые больше всего интересовали жизнерадостных и беззаботных жителей этого чудного и веселого города. „Жизнь и искусство” (которое уличные продавцы газет называли „Жизнью и паскудством”) было еще более скучным. Поэтому самой распространенной и любимой киевлянами га-

зетой являлось „Киевское Слово”.

Редакция „Киевского Слова” помещалась на Владимирской улице, в огромной, мрачной, напоминавшей каретный сарай, комнате. Главный редактор — симпатичный, всегда улыбавшийся, с весело сверкающими из под стекол пенснэ глазками, Н. Н. Игнатьев — возседал в самой уютной и светлой части комнаты, около выходивших на улицу окон. В глубине комнаты, скрупульно освещаемой единственным выходившим на двор окном, находился длинный, когда-то выкрашенный охрой, но затем почерневший от грязи и чернильных пятен стол, за которым сидели другие постоянные сотрудники и ежеминутно вбегавшие в редакцию репортеры. За этим столом иногда можно было увидеть высокого, худощавого ученика Реального училища, старательно выводившего четким и красивым почерком какую-либо заметку. Из десяти таких заметок в газету попадала лишь одна, но это не смущало молодого „писателя”. Когда Н. Н. возвращал ему забракованную заметку, то делал это с такой доброй улыбкой и таким участием к начинающему литератору, что последний не только не обижался, но старался тотчас же написать что нибудь получше, дабы заслужить одобрение симпатичного редактора. Этим сотрудником — реалистом был я, только что приехавший в Киев и поступивший в 5-й класс Киевского Реального Училища.

С „Киевским Словом” я был знаком уже давно. Из всех других газет, которые выписывали мои родители, она была моей любимой. В ней всегда помещались такие забавные корреспонденции из провинциальных городов Киевской, Волынской, Полтавской и Черниговской губерний. А самыми интересными казались мне стихотворные фельетоны какого-то „Дона” (не то — Дон Базилио, не то — Дон Педро). Я и сейчас помню стихи Дон Базилио, который во время Испано-Американской войны писал:

„День и ночь американцы
И испанцы
Друг на друга точат зубы
Из-за Кубы....”

А когда, в связи с пересмотром процесса Дрейфуса, должен был скрыться в Англию заступившийся за него Эмиль Золя, Дон Базилио разразился длинным стихотворением, начинавшимся так:

„Grand scandal в столице Мира
И в волненыи вся земля —
Легче вешнего зефира
Улетел Эмиль Золя...”

Эти стихи вызывали у меня восторг и желание подражать Дон Базилио, но, к сожалению, мне никогда не удавалось сочинить что либо подобное.

Но это знакомство с „Киевским Словом” было заочное. Поступив в Реальное училище и поселившись у Жолковских, квартира которых, как я уже говорил, находилась также на Владимирской, я, поборов свою застенчивость, явился в редакцию, был обласкан Н. Н. Игнатьевым и вручил ему несколько корреспонденций из посада Клинцов. Н. Н. оставил на своем столе принесенный мною материал, обещал его просмотреть и пригласил „заглядывать в редакцию”. Через несколько дней он вернул мне все мои заметки, но просил не огорчаться и продолжать писать:

— То, что вы принесли нам — не представляет особого интереса и не подходит. Но — слог у вас хороший и, если вы выберете другую, более интересную тему, я охотно помешу вашу корреспонденцию...

И я начал чуть-ли не каждый день заходить в редакцию. Видя мое усердие и охватившую меня лихорадку „писательства”, Н. Н. старался сам натолкнуть меня на подходящую тему. Он начал спрашивать меня о Клинцах, о его обывателях и о жизни этого большого фабричного посада. И когда я, увлекшись повествованием, рассказал ему несколько забавных эпизодов из клинцовской жизни, Н. Н. откинулся на спинку своего кресла и сказал:

— Вот вы это и опишите, но не в форме корреспонденции, а как фельетон. Только не торопитесь, хорошенько обдумайте, напишите дома и принесите мне.

Я вернулся в свою комнату и, таясь от моего сожителя и одноклассника, Виктора Жолковского, принялся за фельетон, который решил назвать „Письмом с Черниговского Полесья”. Несколько вечеров просидел я над этим сочинением. Я писал о Клинцах, об его обычаях и наших соседях-помещиках. В моем „письме” фигурировали купцы-старообрядцы, приходившие в трактир со своей посудой, клинцовский градоправитель

Савченко и его помощник — старший городовой Бобрик, городской голова Масалкин и наш сосед Якимович-Кожуховский. Весь этот материал с трудом уместился в двух тетрадках и, когда я принес его в редакцию, добравшийся Н. Н. ужаснулся и замахал руками:

— Помилуйте, какое же это письмо? Ведь тут — целых десять писем и их в один фельетон невозможно уложить!

Но, по мере того, как, пробегая написанные мною странички, Н. Н. знакомился с письмом, лицо его все больше и больше расплывалось в улыбке и, закончив первую тетрадку, он потрепал меня по плечу:

— Очень хорошо! Мы, конечно, кое-что сократим и подправим, но выйдут два — три фельетона и назовем мы их не „Письмом”, а „Письмами с Черниговского Полесья”.

Нужно ли говорить о том, в каком приподнятом настроении вернулся я на квартиру Жолковских? Взяв с моего приятеля Виктора „распречестное слово” и заставив его три раза побожиться, что он никогда и никому не проболтается, я сообщил ему, что стал писателем и что на днях в „Киевском Слове” появятся мои „Письма с Черниговского Полесья”.

Прошло несколько дней. Я не заходил в редакцию, боясь, что Н. Н. вдруг раздумает и вернет мне мои тетрадки. Лучше было оставаться в неведении, чем узнать о таком несчастьи... И вдруг, когда я по дороге в училище купил у разносчика „Киевское слово” и собирался запрятать его в один из учебников (для чего нужно было несколько раз сложить газету), мне в глаза бросился жирный заголовок на 2-й странице: „Письма с Черниговского Полесья”.

Ученикам запрещалось читать газеты и классные надзиратели зорко следили за соблюдением этого правила. Поэтому, несмотря на мое нетерпение, я в училище не мог насладиться чтением своего замечательного произведения. День тянулся для меня невыносимо долго. Наконец проребезжал последний звонок, и реалисты шумной толпой выссыпали на Львовскую улицу. Не помню, как я добежал домой и как мы, вдвоем с Виктором, заперев двери на ключ, развернули газету. Сомнений не было: перед нами были мои „Письма”. Должен теперь

сознаться в том, что помещенные в газете Письма выглядели иначе, чем написанные в моих тетрадках. Но все-же „Письма” остались „Письмами” и в них, как живые, фигурировали пристав Савченко, городовой Бобрик, купец Масалкин и Носач. И я никогда не был так счастлив, как в этот вечер, когда мы с Виктором не менее десяти раз перечитали мой первый фельетон и когда восхищенный Виктор сказал мне:

— Знаешь, ты ведь настоящий писатель, и твои „Письма” гораздо интереснее „Вечеров на хуторе близь Диканьки”!

„Письма с Черниговского Полесья” появились в „Киевском слове” еще два раза. Я собирался их продолжить и с этой целью купил еще две тетрадки. Но мне не суждено было осуществить это намерение.

Через две недели приехала мама и увезла меня в Петербург для поступления в Пажеский корпус. Я прощался с А. П. Осиповым и семьей Жолковских, поблагодарив их за любовь и ласку. Добрейшему Н. Н. Игнатьеву я обещал присыпать новые „Письма”, на этот раз не с Черниговского Полесья, а с берегов Невы. Но новые впечатления и совершенно иной быт отвлекли меня от „писательства”. А через два года я оказался в Манджурии. Там я вспомнил свое обещание и послал Н. Н. несколько корреспонденций „с театра военных действий”. На этот раз все они, без всяких сокращений и изменений, были напечатаны в „Киевском Слове”.

14. ПАЖЕСКИЙ КОРПУС

Пажеский корпус был учрежден императором Александром Первым 12-го декабря 1802 года.

Отличаясь от других военно-учебных заведений более расширенной программой, в особенности иностранных языков, Пажеский корпус считался привилегированным и аристократическим учебным заведением. Привилегии воспитанников, оканчивавших Пажеский корпус, состояли в том, что они могли выбирать род оружия и полки, в которых хотели служить офицерами, не считаясь с свободными вакансиями в этих полках. Юнкера военных училищ таких привилегий не имели. В военных училищах юнкера изучали одну из военных специальностей

— пехотную, кавалерийскую, артиллерийскую или инженерную. А офицерские вакансии распределялись по училищам и рабирались юнкерами по старшинству полученных ими на выпускных экзаменах отметок.

Аристократическим Пажеский корпус считался потому, что в нем воспитывались многие представители титулованных и аристократических фамилий, иностранные принцы и даже сыновья великих князей. Но так-как по положению о „пажах высочайшего двора” в корпус принимались только сыновья и внуки заслуженных генералов и адмиралов, „за заслуги отцов и дедов”, то зачисление в пажи совсем не зависело от родовитости будущего воспитанника. Поэтому сын или внук отличившегося на войне, но не титулованного и непринадлежавшего к родовитым аристократическим фамилиям генерала мог быть пажем, а сын незаслуженного князя или графа — не мог. И понятие об „аристократичности” Пажеского корпуса было неправильным.

Пажеский корпус разделялся на общие и „специальные” классы. Программа семи общих классов ничем не отличалась от программ кадетских корпусов и реальных училищ, а специальных классов соответствовала курсу военных училищ. В отличие от кадетских корпусов, пажи, окончившие семь общих классов и успешно выдержавшие переходные экзамены, переводились в специальные классы, оставаясь в том же учебном заведении. Это способствовало более крепкой спайке между старшими и младшими воспитанниками и привязывало пажей к родному корпусу. Каждый паж до глубокой старости с любовью вспоминал свой корпус, часто посещал его и знакомился с младшими однокашниками. А по старой традиции все бывшие и настоящие пажи говорили друг другу „ты”.

Пажеский корпус помещался в построенном знаменитым архитектором графом Растрелли бывшем дворце Воронцова, на Садовой улице, почти рядом с Публичной библиотекой. При императоре Павле Первом дворец Воронцова был приобретен казной и передан Мальтийским рыцарям (Ордену св. Иоанна Иерусалимского). Наполеон 1-й изгнал этих рыцарей с острова Мальты, а Павел Первый оказал им широкое гостеприимство и объявил себя „магистром” (покровителем) Ордена.

Пребывание Мальтийских рыцарей в Воронцовском дворце продолжалось недолго, но памятью от них осталась великолепная часовня св. Иоанна Крестителя, построенная во внутреннем дворе дворца императором Павлом. В этой часовне стоял под пурпурным балдахином трон Павла. В 1802-м году Воронцовский дворец был перестроен, к нему были пристроены несколько флигелей и по указу Александра Первого он был передан вновь учрежденному Пажескому корпусу. Мальтийский крест стал эмблемой пажей и в 1902-м году, по случаю столетнего юбилея корпуса, был узаконен императором Николем Вторым, как нагрудный знак пажей.

Поступив в общие классы Пажеского корпуса из Реального училища, я оказался единственным в классе „штатским” и отличался от своих товарищей тем, что и в стенах корпуса и в отпуску носил виц-мундир, мундир и пальто без погон. Чтобы получить право ношения погон, я должен был выдержать перед директором корпуса особый строевой экзамен. В начале я боялся, что буду объектом насмешек в своем классе и что, привыкнув в деревне почти к полной свободе, строгая дисциплина и вся обстановка закрытого военно-учебного заведения будет для меня невыносимо тяжелой и я никогда к ней не привыкну. К моему удивлению опасения эти оказались напрасными. Товарищи приняли меня в свою среду, как равного, а внутренний распорядок в корпусе, внимательное и заботливое отношение офицеров-воспитателей, прекрасный подбор преподавателей, умевших заинтересовать своих учеников преподаваемыми предметами, просторные и светлые помещения классов, рекреационных зал и дортуаров — так приятно меня поразили, что я уже через месяц привык к корпусу, полюбил его и чувствовал себя членом большой дружной семьи пажей.

Мне также понравились и традиции корпуса, по которым все пажи, независимо от титулов, чинов и богатства своих родителей, считались равными. Никто из пажей не смел хвастаться положением и богатством своего отца или деда. И, если кто-нибудь нарушил эту традицию, то подвергался бойкоту со стороны всего класса, или, как это называлось в корпусе — „переводился на сугубое положение”. Своим дальнейшим поведением

провинившийся мог заслужить прощение, но в противном случае был вынужден покинуть корпус. И никакая протекция или вмешательство начальства не могли изменить решения товарищей.

Впрочем начальство и офицеры-воспитатели, знавшие о такой традиции, и не пытались оказывать давления на своих воспитанников. Отношения офицеров-воспитателей к пажам были дружеские и основаны на взаимном доверии. В самых редких случаях офицер-воспитатель объявлял выговор или накладывал взыскание на воспитанника, особо тяжело провинившегося или нарушившего дисциплину. Обыкновенно, заметив какую-нибудь шалость, он подзывал к себе шалуна, делал ему замечание и получал от него обещание вести себя более прилично и сдержанно. Поэтому пажи любили своих офицеров-воспитателей и доверяли им. Особенной любовью пажей пользовался мой воспитатель — капитан Александр Александрович Бертельс. И сейчас, через 47 лет, я с теплым чувством вспоминаю этого доброго, отзывчивого и деликатного человека, отношения которого к его воспитанникам никогда не омрачились какой-либо неприятностью. Я знаю, что почтенный Александр Александрович, которому сейчас не менее 78 лет благополучно здравствует, находясь в Южной Америке, поддерживаая дружеские отношения со всеми, своими пребывающими в эмиграции, воспитанниками. Пусть эти, посвященные А. А. Бертельсу от всего сердца, строчки явятся данью моего глубокого к нему уважения.

Преподавателями общих классов были многие выдающиеся педагоги петербургских средних и высших учебных заведений. Некоторые из них состояли штатными преподавателями корпуса в течение многих лет. Старейшим из них являлся преподаватель истории Рудольф Викентьевич Менжинский, отец будущего председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии. (В описываемое время будущий чекист был воспитанником императорского Лицея). Рудольф Викентьевич состоял штатным преподавателем Пажеского корпуса более 40 лет и был учителем двух поколений пажей. Обладая прекрасной памятью, он хорошо помнил отцов многих из своих теперешних учеников и их успехи по истории. Когда кто-нибудь из пажей не мог ответить в каком го-

ду вступил на престол Людовик 16-й, Менжинский откидывался на спинку своего кресла, смотрел с улыбкой на смущенного ученика и говорил:

— Яблочко от яблони недалеко падает! Каков папаша, таков и сынок! Ваш папаша тоже не хотел учить хронологии и стоял таким же столбом! Садитесь, единица!

А папаша, о котором вспоминал Рудольф Викентьевич, был уж давно генералом и командовал армейским корпусом.

Другим таким же почтенным и старым преподавателем был добрейший Яков Игнатьевич Ковальский, преподававший физику также дзум поколениям. Яков Игнатьевич немного картинал, не выговаривая некоторые буквы. Из года в год, когда он объяснял ученикам машину Атвуда, повторялась та-же самая сцена, к которой Яков Игнатьевич никак не мог привыкнуть.

— От сейчас я уам продемонстрирую машину Ат-уда, говорил Яков Игнатьевич, не выговаривавший буквы „в”.

Тотчас со всех парт раздавались вопросы:

— Откуда, Яков Игнатьевич?

— Да не откуда, а Ат-уда!

— Так значит, эта машина не откуда, а оттуда?

И, чтобы прекратить наступавшее в классе веселье и иметь возможность продолжать урок, Яков Игнатьевич, несмотря на свою доброту, должен был пригрозить шалунам записать всех в „журнал” и пригласить в класс дежурного офицера.

Нас часто навещал главный начальник военно-учебных заведений — известный поэт и автор „Царя Иудейского” — великий князь Константин Константинович. Он заходил в классы, слушал ответы учеников, интересовался их письменными работами, а во время перемены обходил выстроившихся пажей, расспрашивая каждого, шутил и смеялся. Константин Константинович пользовался общей любовью, особенно младших воспитанников, к которым относился с особой лаской и вниманием.

Ежегодно Пажеский корпус посещал также и государь. Он приезжал внезапно, не предупреждая о своем приезде начальство, и неожиданно появлялся в классах. Также, как и Константин Константинович, государь слушал ответы воспитанников, просматривал их тетради и

письменные работы, а после обхода классов, приказывал собрать всех пажей в Белом зале. Обходя строй, он обращался к отдельным пажам, спрашивал их фамилии, спрашивая о здоровье их отцов и о том, в какие полки они собираются выйти?

Помню последнее при мне посещение корпуса государем.

Обойдя классы и распрошавшись с пажами, государь сел в свои сани, запряженные одной лошадью. Мы бросились провожать государя. Обеспокоенный тем, что выбежавшие на улицу в одних виц-мундирах мальчики простудятся, государь начал уговаривать нас вернуться в корпус. Но мы настойчиво просили разрешить нам проводить его до дворца. (Царская семья проживала тогда в Аничковом дворце, находившемся недалеко от Пажеского корпуса). Тогда государь, чтобы не огорчать нас отказом, приказал своему кучеру ехать как можно тише, и мы проводили его до самых ворот дворца. Никакой охраны по Садовой и Невскому, по которым ехал царь, не было. Ехавшие на извозчиках и шедшие пешком обыватели узнавали царя и снимали шапки. Военные становились во фронт и отдавали честь. Государь отвечал каждому, прикладывая руку к козырьку своей фуражки. Происходило это в 1903-м году, когда царь часто появлялся на улицах Петербурга, посещал театры, гвардейские полки, кадетские корпуса и военные училища. Через год такие выезды государя стали невозможными, или происходили под усиленной охраной.

15. „ЖАМАИС”

Директором Пажеского корпуса был при мне генерал Епанчин, профессор Николаевской академии Генерального Штаба, труды которого по истории русско-турецких войн пользовались широкой известностью. Но среди пажей генерал Епанчин не пользовался популярностью. Это объясняется тем, что наш директор не был пажем и не считался с традициями корпуса, тогда как его предшественник — граф Ф. Э. Келлер — и сменивший его генерал В. А. Шильдер — были пажами и строго придерживались этих традиций. Граф Келлер, незадолго

до моего поступления в корпус, получил пост Екатеринопольского губернатора. Когда началась русско-японская война, он добровольно оставил этот пост, отправился в действующую армию и был убит летом 1904 года, командуя Восточным отрядом (3-м Сибирским корпусом).

Ближайшими помощниками директора корпуса являлись ротные командиры. Специальные классы составляли первую роту, 6-й и 7-й — вторую, а младшие классы — третью. Командиром нашей роты был старейший офицер Пажеского корпуса, воспитатель двух поколений пажей, полковник Владимир Филиппович Потехин. Он мог бы давно быть генералом, но упорно отказывался от всяких повышений, не желая расставаться с Пажеским корпусом, который для него, старого холостяка, являлся родным домом и семьей.

Потехин имел очень странное прозвище „Жамаиса“. Легенда, переходившая от одного поколения пажей к другому, гласила, что будучи еще офицером-воспитателем, т. е. во времена „до-исторические“, Потехин, войдя в класс, увидел написанное мелом на доске слово: „jamais“ Не владея французским языком, он заподозрил, что под этим таинственным словом скрывается неприличная шалость.

— Кто это занимается тут „жамаисами“? — грозно спросил он находившихся в классе пажей: вы — воспитанники военно-учебного заведения, а слово „жамаис“ штатское и совершенно для вас неподходящее. Потрудитесь поэтому никакими „жамаисами“ больше не заниматься!

С тех пор Владимир Филиппович и стал именовать себя „Жамаисом“.

Являясь старшим из ротных командиров, полковник Потехин командовал на смотрах и парадах батальоном Пажеского корпуса. Ежегодно, 12-го декабря, в день корпусного праздника, Пажеский корпус участвовал на высочайшем смотре вместе с л. гв. Финляндским полком, праздник которого приходился в тот же день.

За несколько дней до 12-го декабря, по окончании учебных занятий, все три роты выстраивались во дворе корпуса. „Жамаис“, верхом на старой и смиренной кобыле „Разлука“ появлялся перед строем, проверял расчет и равнение и, обнажив шашку, командовал:

— Слушай мою команду! Батальон на пра — во!
Ряды вздвой! На пле — чо! Шагом марш!

Хор музыки военно-учебных заведений оглашал Садовую улицу бравурным маршем, городовые останавливали движение и мы, польщенные вниманием публики, маршировали мимо Гостиного двора и Публичной библиотеки, направляясь к Михайловскому манежу, где и происходила репетиция парада.

12-го декабря батальон Пажеского корпуса строился на правом фланге Финляндского полка. В манеж приезжали государь, государыня и великие князья — наследник Михаил Александрович и Константин Константинович, числившиеся в списках корпуса и носившие его форму. После 1905-го года парады эти были перенесены в Царское Село, в манеж л. гв. Гусарского полка. Публика на них не допускалась; парады эти не отличались большой торжественностью и не оставили о себе особых воспоминаний.

Совершенно иначе запечателся в моей памяти „Майский парад”, на котором я участвовал только один раз и которые во время и после русско-японской войны больше никогда не повторялись.

Майский парад происходил ежегодно весной, перед выступлением петербургского гарнизона в Красносельский лагерь. Это был самый грандиозный в Европе военный смотр, ибо ни в одном государстве никогда не собиралось одновременно столько войск, как на Марсовом поле в Петербурге в день этого парада.

Майский парад являлся не только военным праздником. Более 50 лет петербуржцы привыкли присутствовать на Майском параде, который стал одной из петербургских традиций. Для этого парада выбирался один из погожих воскресных или праздничных дней в начале Мая. Около Летнего сада, по правую и левую сторону от царской палатки, сооружались платные трибуны для публики, на которых помещалось несколько тысяч зрителей. Получить место на трибунах было довольно трудно. Места на них расписывались еще задолго до парада. А так как посмотреть на красивое и грандиозное зрелище стремилось чуть ли не все население столицы, то в день парада толпы народа стекались на Марсово поле и окружали его со всех сторон, с трудом сдерживаемые полицией и конными жандармами, охранявшими пространство, предназначенное для построения войск.

Чудный весенний день, веселая, празднично одетая и настроенная толпа, разукрашенные флагами великолепные здания Мраморного и соседних с ним дворцов — придавали каждому участнику парада бодрое и радостное настроение. Не только у офицеров и юнкеров, но и у большинства гвардейских солдат находились в толпе зрителей родные и знакомые. Каждому хотелось, чтобы близкие люди могли полюбоваться их молодецкой выправкой. С раннего утра один за другим подходили на Марсово поле под музыку своих оркестров гвардейские полки. Они выстраивались в несколько линий и скоро все огромное поле кишило, как муравейник.. Батальон Пажеского корпуса входил в состав сводного полка военно-учебных заведений и проходил церемониальным маршем за ротой Дворцовых Гренадер. Рота эта состояла из ветеран Крымской кампании, участников покорения Кавказа и последней русско-турецкой войны. Каждый рядовой имел чин прапорщика, а командовал ротой генерал Bauer, бывший ротный командир Пажеского корпуса. Впереди этой „золотой“ роты шел 12-тилетний барабанщик.

К 9-ти часам утра 1-я и 2-я гвардейские пехотные дивизии, гвардейская стрелковая бригада, три полка 37-й дивизии, Александро-Невский резервный полк и полк военно-учебных заведений, всего 54 батальона, вытягивались в четыре линии, заняв все поле. Все громче и громче нараставшие крики „ура“ извещали о приближении царского поезда. Мы с нетерпением поворачивали головы в сторону Мраморного дворца и вскоре увидели выехавшую с набережной, запряженную шестью лошадьми, коляску императриц. С правой стороны коляски ехал верхом государь, окруженный блестящей свитой и иностранными военными агентами. Начался объезд войск. Полковые марши сменялись народным гимном.

После объезда войск, продолжавшегося около 2-х часов, великий князь Владимир Александрович, командовавший парадом, подал команду к церемониальному маршу. Обе императрицы вошли в царскую палатку, около которой, не слезая с коня, остановился и государь со своей свитой. Пехота проходила развернутым строем по-ротно, а кавалерия по-эскадронно. Пройдя перед царем пехота сворачивала в боковые улицы, чтобы очистить место для кавалерии и артиллерии. Но наш полк военно-учебных заведений не был уведен съ Марсова поля, чтобы дать юнкерам и кадетам полюбоваться красивым зрели-

щем кавалерийской атаки.

После затянувшегося до 2-х часов дня церемониального марша, десять полковъ 1-й и 2-й гвардейских кавалерийских дивизий и гвардейской казачьей бригады выстроились развернутым строем на заднем конце Марсова поля, у казармы Павловского полка. Генерал-инспектор кавалерии — великий князь Николай Николаевич опустил поднятую шашку и вся эта масса в 6000 коней понеслась полевым галопом к Летнему саду. Не доскакав сотни шагов до царской палатки, полки остановились, как вкопанные и снова выровнялись. Зрешище это было настолько красиво и величественно, что запечателось на всю жизнь в моей памяти. Второй раз мне уже не пришлось его видеть. События 1905 года упразднили эту старую петербургскую традицию и петербуржцы лишились удовольствия любоваться на Майских парадах „своей”, петербургской гвардией.

Мне также не пришлось больше участвовать на парадах под командой нашего „Жамаиса”. Через три года после описанного парада В. Ф. Потехин скончался. Я был тогда в младшем специальном классе. Первая и вторая рота пажей, под звуки Шопеновского марша, проводили его на кладбище Александро-Невской лавры и тремя ружейными залпами простились со своим чудаковатым, но любимым батальонным командиром.

16. КАНИКУЛЫ НА ПАРОВОЗЕ.

Каждую субботу и накануне праздников нас отпускали в отпуск до 9 часов вечера воскресенья. Мои отпуска я проводил или у бабушки, имевшей квартиру в Ковенском переулке, или у „дедушки” Шепелева.

„Дедушка” Шепелев был дедом моего двоюродного брата, офицера гвардейской конной артиллерии, но наша семья так любила этого доброго и милого старика, что мы все также называли его дедушкой.

Генерал от артиллерии Александр Дмитриевич Шепелев во время турецкой войны был начальником артиллерии на Шипке и прославился обороной этого исторического перевала. Затем он командовал гвардейской конно-артиллерийской бригадой, а в описываемое время был товарищем генерал-фельдцейхмейстера (великого князя Михаила Николаевича).

А. Д. Шепелеву было уже 80 лет, но он был бодр и жизнерадостен. Вставал он по старой военной привычке в 7 часов утра и каждое утро, во всякую погоду, совершал перед ранним завтраком длинную прогулку пешком. Выйдя из своего дома на Фурштатской улице, он шел в Таврический сад, откуда возвращался домой, сделав большой круг по Кирочной и Литейному. Все обыватели Фурштатской, Сергиевской и Кирочной знали Александра Дмитриевича и, когда он выходил на прогулку, каждый считал своим долгом поклониться старику и осведомиться об его здоровье. Дедушка приветливо раскланивался с дворниками и швейцарами, с бежавшими в школу гимназистами и спешившими на службу чиновниками. Он был посвящен во все семейные дела жителей „своего“ района, спрашивал, выздоровел ли заболевший корью Саша, выдержал ли переэкзаменовку шелопай Миша и получил ли, наконец, Матвей Степанович обещанное ему место бухгалтера?

Попадавшиеся навстречу солдаты Преображенского полка и конной артиллерии, казармы которых находились в „дедушкином районе“, также хорошо знали старого генерала, становились во фронт и „ели глазами“ его высокопревосходительство. Дедушка здоровался с каждым солдатом и, прикладывая два пальца к огромному козырьку своей старомодной артиллерийской фуражки (такие фуражки носили при Александре Втором), ласково приговаривал: „Проходи, братец“!

И, если в какое-либо утро Александр Дмитриевич не выходил на свою обычную прогулку, все население Кирочной и Фурштатской начинало беспокоиться и спрашивало дедушкиного швейцара, почему он сегодня не гуляет и не заболел ли, не дай Бог, его высокопревосходительство?

Когда я проводил свои отпуска у Шепелевых, то всегда сопровождал „дедушку“ на его прогулках, во время которых он рассказывал мне о Севастопольской обороне и турецкой войне, вспоминал известных людей этой эпохи и интересные эпизоды из своей шестидесятилетней военной службы при четырех императорах.

В царские дни во всех императорских театрах — Мариинском, Александрийском и Михайловском — давались дневные представления для институток и воспитанников военно-учебных заведений.

В театрах институтки занимали ложи бельэтажа и

первого яруса, кадеты и юнкера — партер, ложи второго и третьего ярусов.

Во время антрактов гофмаршальская часть министерства двора устраивала в фойе буфет с фруктами, конфектами и прохладительными напитками. Но юнкерам и кадетам не полагалось встречаться с институтками, и классные дамы зорко следили за тем, чтобы их воспитанницы не только не переговаривались с кавалерами, но даже не обменивались бы с ними улыбками. Поэтому во время одного антракта в фойе допускались только институтки, а во время другого — только юнкера.

Все эти строгости, однако, не мешали нам переглядываться с теми милыми девушками, с которыми мы украдкой встречались, посещая в институтах наших кузин. И часто, при посредничестве капельдинеров, мы обменивались с ними записочками, которые бережно хранили до следующего свидания в институте.

Совершенно иначе и гораздо интереснее протекали рождественские, пасхальные и особенно летние каникулы.

При переходе в седьмой класс я не поехал в летний отпуск, а, сговорившись с одним товарищем, также, как и я, увлекавшимся паровозами и машинами, решил поступить практикантом в петербургское депо С. Петербурго-Варшавской железной дороги. Начальник этой дороги — камергер Валуев — был другом семьи моего товарища и, благодаря его протекции, нас тотчас же приняли в депо и назначили кочегарами на маневровые паровозы.

Приходя рано утром в депо, я переодевался в рабочий костюм и, превратившись из пажа в кочегара, шел к „моему“ паровозу. Это был старый, построенный в 1863-м году, трехосный локомотив, возивший когда то первые поезда С. Петербурго-Варшавской дороги. Весь механизм моего паровоза был расхлябан, котел постоянно „парил“, топка, приспособленная под дрова, была также неисправной. Но, несмотря на убожество этой дряхлой машины, я гордился тем, что езжу на ней и при надлежу к железнодорожному персоналу.

Моим начальником и учителем был такой же старый, как и его паровоз, машинист Иван Самойлович, сразу же принявшийся за мое обучение. В начале нас на паровозе было трое: Иван Самойлович, кочегар и я. Но, когда я привык к своим обязанностям, состоявшим в подбрасывании в топку березовых поленьев и смазке поршней и других частей механизма, кочегара перевели на товарный

паровоз и мы остались вдвоем с Иван Самойловичем. Я быстро освоил несложный механизм „моего“ паровоза и единственной, трудно дававшейся мне работой, требовавшей физической силы, была прочистка „колосников“ (решетки, на которой в топке лежат дрова).

Наш паровоз никогда не покидал территорию станции и с утра до вечера ездил по путям, собирая порожние вагоны, отвозил их в парк, или забирал на товарной станции груженые вагоны и ставил их на „ранжирные пути“.

Для привыкшего к длинным перегонам старого машиниста такие маневры были скучным занятием. Поэтому, убедившись в том, что я научился пускать в ход машину и останавливать ее, Иван Самойлович предоставил мне свой круглый табурет у регулятора, а сам перебрался на тендер. Выпив „мерзавчик“ водки и закусив, он подкладывал под голову старое пальтишко и мирно засыпал. А я, исполняя приказания вскакивавшего на подножку составителя, водил мой паровоз по путям, осторожно подъезжая к прицепляемым вагонам и отвозя их на указываемые составителем пути, которые „требовал“ от стрелочников условными свистками.

Через месяц меня перевели на пассажирский паровоз и я стал ездить с дачными и пассажирскими поездами от Петербурга до Пскова и обратно. Мой новый паровоз — серий „П“, т. е. построенный на Путиловском заводе, был также довольно почтенного возраста. Две пары его ведущих колес были выше моего роста и казались мне особенно большими. Мы водили небольшие составы из 7 — 8 вагонов, но и с этими малыми составами наш паровоз едваправлялся, особенно на подъемах, которых так много от Петербурга до Суйды. Однако, разойдясь на длинных перегонах, он развивал сравнительно большую скорость до 60 — 70 верст в час.

На новом паровозе, кроме меня, было постоянно двое: машинист и его помощник. Мой новый „шеф“ относился подозрительно к моему опыту и не доверял мне, как Иван Самойлович, управления паровозом. Но я все-таки присмотрелся к этому искусству, заключавшемуся главным образом в умении манипулировать с воздушным тормозом „Вестингауз“. За месяц я не менее двадцати раз проехался от Петербурга до Пскова, изучил профиль пути, характерные особенности всех промежуточных станций и прекрасно научился разбираться в сигналах. За это время я редко ночевал в пустовавшей летом

бабушкиной квартире и обыкновенно высыпался в казарме паровозных бригад „оборотного“ депо в Пскове.

Эта добровольная служба на паровозе научила меня многому и ознакомила с бытом и условиями труда нынешних железнодорожных служащих.

Через несколько лет, будучи офицером, я разыскал и посетил Иван Самойловича. Он уже не ездил на паровозе, а состоял при депо, дослуживая оставшиеся несколько лет до пенсии. Сначала он немного смущился, но затем, вспомнив, как я учился у него управлять паровозом, развеселился и даже потрепал меня по плечу. А мой старый паровоз, с которого сняли водомерное стекло и другое, более ценное оборудование, стоял забытый на дальнем тупике и тоже не ездил больше по путям ранжирной станции. На смену старым машинистам пришли молодые механики, а слабосильные дровяные паровозы заменили мощными угольными и нефтяными.

17. ПЛОЦК НА ВИСЛЕ.

За неделю до окончания отпуска я рас прощался с моей паровозной бригадой и уехал провести оставшиеся дни отпуска к маме.

К этому времени наше имение пришлось продать и мама, благодаря диплому Высших Педагогических Курсов, получила назначение начальницей женской гимназии в Плоцке.

Город Плоцк, старинная столица Мазурского княжества, находится на правом берегу Вислы, в 100 верстах от Варшавы. Железной дороги в Плоцк тогда не было. Летом из Варшавы в Плоцк ходили довольно комфортабельные пароходы. Путешествие от Варшавы вниз по Висле до Плоцка продолжалось 6 часов, а пароход отходил через 3 часа после прихода петербургского поезда. За эти три часа я успевал осмотреть Варшаву, погулять по Маршалковской, Новому Свету и Иерусалимским Аллеям, посетить „каварнию“ и выпить вкусного кофе „по-варшавски“ с пончиками и хрустом.

Зимой добраться до Плоцка было гораздо сложнее. Нужно было ехать по Варшавско-Венской дороге до станции Кутно, откуда в Плоцк ходили почтовые, четырехместные кареты. Всего нужно было проехать на лошадях 44 версты, дорога продолжалась 5 часов и была скучной

и утомительной.

Плоцк расположен на горе. От пристани в город вела широкая каменная лестница, имевшая больше ста ступеней. Через каждые 20 ступеней была площадка со скамейками для отдыха. Женская гимназия находилась на самом верху этой горы, на бульваре, с которого открывался замечательный вид на Вислу и на большие леса левого берега. Против гимназии находился старинный католический собор с гробницами двух польских королей, павших в боях с германцами, часто нападавшими на Mazurskое княжество. Улицы города, обсаженные липами, содержались в идеальной чистоте, а в центре города был тенистый парк, в котором по воскресеньям играла музыка.

В Плоцке стоял довольно большой гарнизон: 46-й драгунский Переяславский полк, 1-й и 2-й стрелковые полки, 1-й стрелковый артиллерийский дивизион и 22-я конная батарея. Кроме войсковых частей в городе находились штаб 15-й кавалерийской дивизии и управление 1-й стрелковой бригады. Начальником 15-й дивизии был в то время известный своей необычайной карьерой генерал Эраст Ксенофонтович Квитницкий. По окончании Пажеского корпуса и Николаевской академии генерального штаба Квитницкий был назначен старшим адъютантом одной из кавалерийских дивизий. Неполадив с начальником дивизии, он во время спора нанес ему оскорбление, за что был предан суду и разжалован в рядовые. Отличившись во время турецкой войны 1877 — 78 г.г., он снова заслужил офицерские эполеты и, быстро продвигаясь по службе, достиг высокого поста начальника дивизии. Штаб офицером (начальником штаба) управления 1-й стрелковой бригады был также незаурядный офицер — подполковник Лавр Георгиевич Корнилов, будущий Верховный главнокомандующий.

Мама имела в гимназии хорошую казенную квартиру, окна которой выходили на Вислу. Здание гимназии было перестроено из старого монастыря. В нем сохранились типичные монастырские коридоры с арками и сводами, а окна были пробиты в толстых стенах и имели глубокие ниши.

Все мои рождественские, пасхальные и летние каникулы до 1908-го года, т. е. до производства в офицеры, я провел в Плоцке. Там у меня было много приятелей, кадет и юнкеров, также приезжавших в отпуск к своим родным. Мы ежедневно встречались с ними, ездили вер-

хом на лошадях Переяславского полка, играли в теннис, гуляли и ухаживали за гимназистками. Время отпусков пролетало так быстро, что день возвращения в корпус наступал совершенно неожиданно и всегда заставал меня врасплох. И каждый раз я с сожалением расставался с этим милым городом.

Говоря о Плоцке нельзя не вспомнить тех чудаков и оригиналов, которыми славился его гарнизон и о которых ходило много легенд и анекдотов.

Среди „плоцких чудаков“ не последнее место занимал уже упомянутый мною генерал Квятницкий. Сейчас я не могу припомнить всех ходивших о нем анекдотов. Помню лишь, что генерал любил дамское общество, очень следил за своей наружностью и даже подкрашивал свои седеющие бороду и виски. При этом он был неимоверно скромен, взыхал, когда приглашенный на обед к какой-нибудь даме, должен был разориться на цветы или, когда ему приходилось в „цукерне“ давать на чай кельнерше. Совершая лично все покупки для своего хозяйства, он любил торговаться в лавках и магазинах, владельцы которых, зная привычки генерала, заламывали с него двойные цены. И Квятницкий был вполне удовлетворен, когда, после долгой торговли, ему удавалось выторговать несколько копеек и приобрести товар по нормальной цене. Почтенный генерал также очень оберегал свой сад, находившийся на Главной улице при казенной квартире начальника дивизии. Когда созревали фрукты, Квятницкий каждое утро проверял количество яблок и груш на деревьях. Если ему казалось, что с какого-либо дерева исчезло несколько яблок, он расстраивался на весь день и дурное настроение генерала отражалось на всех чинах штаба дивизии.

Другим чудаком был недалекий, но добродушный командир Переяславского полка — персидский принц Шафи-Хан. Переяславский полк был переведен на сформирование 15-й дивизии с Кавказа. Поэтому среди его офицеров было много грузин, армян и татар. Принц благодушествовал в привычной ему обстановке, среди уроженцев Кавказа. Традиционные плов, шашлык и кахетинское вино являлись непременными угощениями на всех вечеринках и пикниках, устраиваемых командиром и обществом офицеров Переяславского полка. А обеды, на которые принц неизменно приглашал появлявшихся в Плоцке „знатных“ заезжих гостей, славились изыскан-

ными произведениями восточной кухни, особенно „шербетами”, собственноручно изготавлившимися гостеприимным хозяином. Шафи-Хан очень гордился тем, что командует переяславцами, шефом которых был император Александр Третий, а после его смерти — вдовствующая государыня. Ежегодно он ездил в Гатчину и представлялся Шефу полка. Возвращаясь из таких поездок, он устраивал настоящий пир для своих офицеров, которым рассказывал, как был принят императрицей и какие вел с ней разговоры. (Трудно представить себе, какой оживленный разговор мог происходить между плохо говорившей по-русски Марией Феодоровной и еще хуже нее говорившим по-русски и совершенно не владевшим иностранными языками принцем). Шафи-хан особенно возгордился после случившагося в Переяславском полку происшествия, вызвавшего его обмен телеграммами с государем. Однажды зимой, из-за неисправности печки в караульном помещении, угорел весь полковой караул, в том числе караульный начальник и разводящий. Угоревший разводящий не мог сменить часового у денежного ящика и он простоял на посту более суток. (По уставу часовой мог быть сменен с поста только разводящим, караульным начальником или по повелению императора). Пришлось послать телеграмму в Петербург. Военный министр доложил государю о происшествии и Шафи-Хан получил высочайшую телеграмму, разрешавшую часовому сойти с поста. После этого случая принц постоянно вспоминал о полученной им телеграмме государя и старался уверить слушателей, что часто переписывается телеграммами с „самим царем”.

Помощником Шафи-Хана и старшим штаб-офицером был также чудаковатый, но премилый полковник — армянин Шахназаров.. Аттестованный „выдающимся офицером” он числился кандидатом на получение полка „вне очереди”. Почему то, несмотря на такую аттестацию, Шахназаров никак не мог получить полка. Впрочем он относился очень спокойно к тому, что его обходили назначениями, ибо, благодаря этому, мог продолжать службу в своем родном полку. Если в собрании, в его присутствии, заходил разговор о такой несправедливости, Шахназаров глубокомысленно замечал: „Видишь, душа мой, полковник Д-ч получил Митавский полк по очереди, а я должен получить полк вне очереди. Значит — все в порядке!”

Но самым знаменитым „плоцким чудаком” был безспорно командир 22-й конно-артиллерийской батареи — подполковник Николай Павлович Шульц.

22-я конная батарея была одной из старейших батареи русской армии. Она участвовала в бою под Прейсиш-Эйлау, в кампаниях 1812, 1813 и 1814 г. г., побывала в Берлине, Лейпциге, Париже и на берегах Дуная. Командир этой батареи — легендарный князь Яшвиль, — в одном из сражений отбивший „банниками” (щетки для чистки каналов пушек) атаковавшего его противника, на вопрос императора Николая Первого, чем наградить батарею за этот подвиг, ответил:

— Железными банниками, ваше величество: наши деревянные часто ломаются!

В 1907-м году командиром 22-й батареи был назначен бывший старший офицер той же батареи Н. П. Шульц, академик, умный и образованный офицер. Будучи еще капитаном Николай Павлович воспыпал страстью к одной плоцкой барышне и упорно добивался ее руки. Но бедный капитан не пользовался взаимностью и, когда сделал барышне формальное предложение, получил отказ. С тех пор Шульц стал ярым женоненавистником. Чтобы избежать покушений со стороны заботливых маш, обративших сугубое внимание на этого завидного — молодого, богатого и занимавшего высокий пост жениха, Николай Павлович снял квартиру в верхнем этаже известного в Плоцке „учреждения” не менее известной пани Коханской. И свой адрес, с точным указанием улицы, дома и фамилии „хозяйки”, он напечатал на своих визитных карточках.

Избегая дамского общества, Шульц всячески старался оградить от „прекрасного пола” также и офицеров своей батареи. Летом вся артиллерия Варшавского округа собиралась в Рембертовский лагерь, расположенный в прекрасном сосновом лесу в окрестностях Варшавы. Другие батареи часто устраивали вечеринки, на которые приглашали знакомых дам и барышень. Чтобы не подпустить дам к расположению своей батареи, Николай Павлович заводил несколько граммофонов, воспроизведивших репертуар такого характера, что от него краснели не только офицеры и фейерверкеры, но и сами сосны, под которыми были разбиты палатки батареи.

Однако, занимаемое Шульцем служебное и общественное положение обязывало его придерживаться при-

нятых в обществе обычаях. Будучи воспитанным и светским человеком он не мог их игнорировать, почему ему приходилось делать визиты семейным городским обывателям. Обыкновенно он старался ограничить такие визиты минимальным временем или просто оставлял прислуге свою визитную карточку... И однако, несмотря на такое демонстративное отношение к „прекрасному полу”, все плоцкие дамы и девицы ставили Николая Павловича в пример другим кавалерам. Ибо „женоненавистник” никогда не забывал ни одной именинницы и каждой из них посыпал подарок — пуд (40 фунтов) шоколадных конфет!

Впрочем Шульц оказывал не меньше внимания и именинникам. Каждый из его знакомых (а знакомыми Н. П. являлись чуть ли не все жители Плоцка) получал от него в день именин поздравление с приложением четверти ведра рябиновой водки, которую особенно „уважал” подполковник

Н. П. Шульц был известен в Варшавском военном округе не только своими „чудацествами”. Его батарея была на лучшем счету и на всех смотрах получала особую благодарность начальства.

По иронии судьбы этот бесспорно выдающийся офицер не мог принять участия в первой Мировой войне. Летом 1914 года Н. П. разбился на офицерских барьерных скачках (стиплъ-чэзе) в Варшаве. Война застала его в военном госпитале, в котором ему пришлось пролежать около тода и из которого он выписался калекой, непригодным к строевой службе. И в довершение свалившихся на бедного женоненавистника несчастий, он был назначен представителем от военного ведомства в дамский комитет помощи воинам, возглавлявшийся императрицей Марией Федоровной.

В Плоцке закончилась моя счастливая и беззаботная юность.

Уезжая в 1904-м году по окончании летних каникул из Плоцка, я знал, что на Рождество в этом году сюда не приеду. Еще весной 1904 года я сговорился с моим товарищем Митеем Сытенко — добиться перевода в Манчжурсскую армию. Мне удалось достичь этой цели. Но война превратила меня из неопытного юноши в умудренного жизнью молодого человека. И прежние юношеские развлечения и мечтания сменились другими, более серьезными и осмысленными.

18. НА ВОЙНУ.

Всю осень 1904 года я изыскивал возможности перевода в Действующую армию. Я побывал в Главном штабе, в управлении С. Петербургского воинского начальника, но всюду сталкивался с непреодолимым препятствием: воспитанников военно-учебных заведений не принимали добровольцами в Манчжурскую армию.

Свидетельство об окончании 6-ти классов среднего учебного заведения давало права вольноопределяющегося первого разряда. Поэтому я прежде всего взял из канцелярии корпуса такое свидетельство. Но дальше дело не двигалось. Как то я узнал от дедушки Шепелева, что мобилизуется и скоро отправится в Манчжурию 16-я артиллерийская бригада, квартирующая в городе Волковыске. В Белостоке — в 60-ти верстах от Волковыска — стоял 4-й конно-артиллерийский дивизион, которым раньше командовал мой дядя — А. М. Шепелев-Вороноевич. Поэтому всем местным артиллеристам должна была быть известна моя фамилия. И я решил — отправиться в Волковыск и заявить командиру бригады о своем желании поступить вольноопределяющимся, чтобы стать, как и мой дядя, артиллеристом.

Нужно было торопиться, так как бригада могла уже в ближайшие дни выступить в поход. Отпуска я получить не мог. Недолго думая, я воспользовался ближайшей субботой и, вместо того, чтобы пойти в отпуск к бабушке, сел в поезд и поехал в Волковыск. Приехав туда, я явился к временно-командующему бригадой полковнику Петриченко, представил ему свидетельство об окончании шести классов корпуса и заявил о моем желании поступить вольноопределяющимся в бригаду. Узнав, что бывший командир 4-го конно-артиллерийского дивизиона мой дядя, которого он хорошо знал, Петриченко приказал адъютанту зачислить меня в 5-ю батарею. Бригада должна была начать грузиться уже на следующий день. Прямо от Петриченко я отправился к командиру 5-й батареи и был приведен к присяге. Каптенармус выдал мне очень хорошие шинель и мундир, которые в батарейной швальне за три рубля мне перешли по мерке. В городе я купил папаху, белье и другие необходимые для похода вещи..

В корпусе никто не заметил моего исчезновения. То-

вариши, знаяшие о моем намерении, скрывали от начальства мою тайну. Только на пятый день, обнаружив мое отсутствие, капитан Бертельс (мой офицер-воспитатель) отправился к бабушке, от которой и узнал, что я в субботу к ней не приходил. А я в это время уже ехал в воинском эшелоне и с дороги написал маме и капитану Бертельсу прощальные письма. Вернуть меня в корпус было невозможно. Я уже принял присягу и состоял в мобилизованной части. Директор корпуса — генерал Епанчин был очень разсержен моим побегом и написал письмо, в котором предсказывал мне самую печальную будущность. В приказе по корпусу было объявлено, что я исключаюсь из списков пажей за самовольную отлучку.

За два дня, проведенных в Волковыске, я познакомился с офицерами и солдатами моей батареи и старался наскоро изучить материальную часть орудий, уставы и наставления.

Наш батарейный командир — подполковник Деггелер — был пожилой, совершенно седой человек, более 30-ти лет прослуживший в захолустном гарнизоне западного края. Тяжелые условия службы отразились на его характере: он был угрюм, неразговорчив, а подчас — резок и груб. Обремененный большой семьей, вечно нуждавшийся в средствах, Деггелер, получив, наконец, батарею, старался съэкономить остатки от отпусковшихся интенданством сумм на приобретение фураж, что разрешалось законом. Если справочные цены на сено и овес превышали покупные, то разница поступала в пользу командира батареи. Поэтому подполковник старался закупить в Волковыске и погрузить как можно больше фураж, ибо волковысские цены были на много дешевле справочных цен лежавших по пути в Манчжурию городов.

Старший офицер — штабс капитан Падейский — по собственному желанию откомандировался со старшего курса академии Генерального Штаба, чтобы принять участие в войне. Это был светский, начитанный и остроумный человек, общество которого доставляло большое удовольствие. Поручик Митрофанов, добродушный толстяк, был единственным офицером, прослужившим более трех лет в батарее, которого знали и любили солдаты. Два подпоручика — Беляев и Пашков, также добровольношли на войну. Они находились на дополнительном курсе артиллерийского училища, окончив который

могли получить большие преимущества перед своими товарищами. Но, решивъ принять участие в войне, они отказались от таких преимуществ и только что были произведены в офицеры. Пятым офицером батареи был прапорщик Сахаров, призванный из запаса московский коммерсант.

С остальными офицерами бригады я познакомился позднее. Оба дивизионных командира — полковники Петриченко и Котовский были старыми артиллеристами, знали и любили свою специальность и хорошо относились к подчиненным. Другими батареями командовали подполковники Свентицкий, Каменев, Баранович, Бураков и Лихарев. Всех симпатичнее был командир третьей батареи — подполковник Баранович, окончивший артилерийскую академию, умный, образованный и во всех отношениях прекрасный человек. Его батарея считалась лучшей в бригаде. Таким же симпатичным и интеллигентным был командир второй батареи — Каменев, также окончивший артиллерийскую академию. Что же касается Свентицкого и Буракова, то они походили на Деггелера и были такими же „бурбонами“. Из остальных офицеров я вспоминаю штабс-капитанов Конде, Семенова, запаса князя Гагарина. Все они были люди интеллигент-бригадного адъютанта И. И. Рысина и призванного из ные и хорошо обращались с солдатами. Вообще офицерский состав бригады стоял на высоте, благодаря чему, несмотря на превышающее втрое кадровых солдат число запасных, дисциплина в батареях легко поддерживалась. Даже Деггелер и другие „бурбоны“ к солдатам относились хорошо и всегда о них заботились.

Наступил день отправления нашей батареи. С утра свозили на ж.д. вокзал и грузили обоз, фураж и продукты. Погрузка орудий и лошадей происходила вечером, перед самым отправлением эшелона и затянулась до 10 часов.

Наконец погрузка была закончена. На платформе собрались провожающие — семьи и знакомые офицеров, представители города и гарнизона. Было подано шампанское, произнесены полагающиеся в таких случаях речи, а солдатам разданы кисеты с подарками — махоркой, папиросами и мылом. Раздалась команда „по вагонам“, прозвенел третий звонок, паровоз протяжно свистнул и эшелон наш, поскрипывая обмерзшими колесами, тронулся в далекий путь.

Офицеры батареи приняли меня, единственного в бригадевольноопределяющегося, очень радушно и по их инициативе командир предоставил мне место в офицерском вагоне, так что я совершил длинное путешествие с большим, по сравнению с солдатами, комфортом.

Кроме офицеров пятой батареи, с эшелоном ехал младший врач бригады, призванный из запаса молодой доктор Гогин. Доктор оказался очень милым и симпатичным человеком, но постоянно проповедывал довольно либеральные для нашего общества идеи.

Рассуждения Гогина очень не нравились прапорщику Сахарову, любившему похвастать своим патриотизмом и подчеркнуть, что, хотя он и мог „при своем капитале” освободиться от мобилизации, но, как добрый патриот, принес себя в жертву отечеству.

Несмотря на правые убеждения остальных офицеров, они не поддерживали Сахарова при его ожесточенных спорах с доктором. „Квасной” патриотизм прапорщика и грубое обращение с солдатами не внушали к нему симпатий. А его столкновения с Гогиным являлись своего рода развлечениями, которых было так мало в нашем маленьком обществе.

Обычно столкновения доктора с Сахаровым начинались рассуждениями о наших военных неудачах. Перечисляя известные всем события на театре военных действий и ошибки высшего командования, Гогин предсказывал ожидающий нас в Манчжурии окончательный разгром. Сахаров, горячась и размахивая руками, возражал и доказывал, что наши неудачи вызваны лишь неожиданностью войны, неподготовленностью к ней, и что наши солдаты горят желанием отомстить врагу. Поэтому не может быть и речи об окончательном поражении. Успехи японцев он объяснял исключительно неравенством сил и выражал уверенность в их разгроме, как только на театр военных действий прибудут вновь мобилизованные корпуса.

— Полно вам, прапорщик, поражать перстом супостатов. — говорил доктор: дело совсем не в том, что у японцев на две-три дивизии больше, чем у нас, а в том, что каждый японец знает, за что он воюет и верит в своих начальников. А полюбуйтесь-ка на наших „курлябчиков” (так называл фельдфебель Оцепа призванных из запаса польских крестьян), которые, по вашему, горят желанием сразиться с супостатом. Да ведь они волками во-

ют в теплушках и проклинают совсем не японского Ми-
кадо, а скорее нас с вами!

— Что с вами спорить, перебивал его Сахаров: вы —
нигилист и радуетесь каждому поражению России. Я и
говорить с вами больше не хочу!

Подезжая к Иркутску мы узнали из московских га-
зет (скорый поезд доставлял их на шестой день) о начав-
шемся под Мукденом большом сражении.

Первые донесения гдавнокомандующего об этом сра-
жении дышали бодростью и наш „непобедимый прапор-
щик” с торжеством потрясал газетами перед доктором.
Но Гогин не сдавался и советовал Сахарову не праздно-
вать заранее победы.

Простояв под Иркутском, на станции Иннокентьев-
ской три часа, чтобы дать возможность нашим солда-
там попариться в прекрасно оборудованной этапной ба-
не, мы поздно вечером двинулись к Байкалу и на рассве-
те прибыли на станцию Лиственничную, на берег озера.

Еще через день мы поднялись по красивой петле на
перевал Яблонового хребта и поезд наш вошел в длинный
туннель, на западном портале которого было написано
„к Великому океану”, а на восточном — „к Атлантиче-
скому океану”. Спустившись с Яблонового хребта мы
стали приближаться к границам Китая.

В Чите мы узнали из газет об оставлении Мукдена.

Известие это нас сильно удручило.

Наше маленькое общество собралось в купе, отведен-
ном под столовую. Обыкновенно наши обеды протекали
шумно и весело. На этот раз в столовой царило угрю-
мое молчание.. Даже никогда неунывающий Митрофа-
нов и тот сидел молча, нахохлившись в своем углу.
Штабс-капитан нервно курил, а командир с Сахаровым
молча чокались и хлопали рюмку за рюмкой.

Доктор не напоминал Сахарову о своем предсказа-
нии. Он был также расстроен и видимо не ожидал, что его
пророчество так быстро исполнится.

Только в конце обеда, Сахаров не выдержал и, злоб-
но взглянув на Гогина, процедил сквозь зубы:

— Ну что, накаркали? Довольны?

Доктор отмахнулся от него и ничего не ответил. Наш
„нигилист” не менее нас чувствовал горечь поражения...

Через три дня мы приехали в Харбин.

Вокзал был битком набит „эвакуировавшимися” с
фрона офицерами и чиновниками. Было невозможно

пробиться к буфету и газетному киоску. Настроение прибывших с фронта было подавленное, они считали войну безнадежно проигранной. Но многочисленные офицеры расположенных в Харбине тыловых учреждений были напротив бодры и уверяли, что никакого разгрома не произошло, а было — заранее предусмотренное отступление.

От Харбина поезд наш снова пополз черепашьим шагом. На каждой станции нас встречали толпы китайцев. В теплых синих кофтах, с трубками в зубах, они с любопытством посматривали на наши пушки, переговаривались между собой, качали головами и любезно улыбались, когда кто-нибудь из офицеров подходил к ним.

Позже мы узнали, что китайцы приходили на железную дорогу, чтобы выяснить, будут ли русские отступать дальше или остановятся под Гунжулином. Этот вопрос был для них чрезвычайно важен: если русская армия придет сюда, то им надо сниматься с мест, оставлять свои фанзы, бросать необработанными поля и уходить на запад, к границам Монголии, или на восток, в горы. Ибо, к нашему стыду, совместная жизнь русских войск с местным населением оказывалась невозможной. Мы не давали „манзам“ (крестьянам) обрабатывать поля, отбирая от них семена для прокорма наших лошадей, а, размещаясь по фанзам, выгоняли из них хозяев. Поэтому китайцы, узнав о приближении русских, покидали насиженные гнезда и, погрузив на двухколесные арбы весь свой скарб, жен и детей, спешили уйти подальше от незванных гостей.

На 48-й день путешествия мы, наконец, прибыли по назначению — в Гунжулин, маленькую станцию южной ветки Восточно-Китайской жел. дороги, ставшей центром расстроенной после небывалого поражения армии. На запасном пути стоял поезд нового главнокомандующего — генерала Линевича, а небольшой вокзал, как и в Харбине, был битком набит офицерами, врачами, интендантами и сестрами милосердия.

Через два часа после прибытия эшелон был разгружен, орудия и зарядные ящики — запряжены и, с наступлением сумерок, батарея двинулась со станции на бивак.

Так как все находившиеся вокруг станции здания и казармы пограничников были заняты штабами, канцеляриями и лазаретами, нам пришлось расположиться на ночлег под открытым небом.

Было уже поздно, люди устали. Поэтому, разбив коновязи и установив в „парке“ орудия, солдаты разложили костры и расположились вокруг них, не расставляя палаток, которые надо было еще доставать из обоза. Офицеры расположились пить чай также вокруг костра. Напившись чаю и завернувшись в бурки, мы, несмотря на сильный холод, быстро заснули. Ночью костер погас, но холод как будто уменьшился. Проснувшись на рассвете, я понял, почему мне под буркой стало теплее: за ночь выпал снег и покрыл нас толстым пушистым слоем. Взглянув на моих соседей по ночлегу, я увидел огромные кучи снега, из которых подымался пар.

Напоив и почистив свою лошадь, я вернулся к нашему костру и в кампании с проснувшимся доктором напился горячего чаю. Так начался мой первый день на войне.

19. ХУНХУЗЫ.

Через несколько дней бригада получила приказ сняться с бивака и перейти к станции Годзядань, где всей нашей дивизии был отведен квартиро-бивачный район в деревне Мадиопа.

Деревня эта оказалась покинутой жителями. Фанзы стояли без оконных рам и дверей: проходившие войска использовали их на топливо.

Разместиться в отведенных нам 12-ти полуразрушенных фанзах бригада не могла. Поэтому фанзы были отданы управлению бригады и командирам батарей, солдаты же разместились по палаткам.

С приходом в Годзядань обнаружилось, что все огромные склады гяоляна и чумизы, заготовленные интендантством еще осенью 1904 года, были сожжены при отступлении. Поэтому расположенные вокруг Годзядани части должны были приобретать фураж собственным попечением. Но заготовка фуражка оказалась делом очень трудным: стоял март месяц, поля были еще совершенно голые, в покинутых жителями деревнях не оказалось ни зерна гяоляна, ни снопа чумизной соломы. А между тем привезенные с собой запасы подходили к концу. Пришлось начать фуражировки в ближайших окрестностях.

Обыкновенно наши фуражировки состояли в том, что мы доезжали до первой встречной фанзы и, если крыша на этой фанзе еще уцелела, т. е. не была снята фу-

ражирами других батарей, то полусгнившая солома и голяновые стебли быстро разбирались, грузились на повозки и доставлялись в батарею, где эта пародия на корм отдавалась изголодавшимся лошадям. Но с каждым днем приходилось ездить за крышами все дальше и дальше и вскоре вокруг нашего бивака не осталось ни одной целой крыши.

Когда положение с фуражем стало совсем критическим, командир бригады приказал каждой батарее отправить разведчиков в дальнюю фуражировку, в район Гирина. В этом, отдаленном от позиций, районе не было никаких войсковых частей, китайцы остались на местах, а интендантство заготовок не производило. Следовательно — там должны были быть значительные запасы фуража.

От нашей батареи в эту фуражировку были назначены поручик Митрофанов, я и 15 разведчиков. С нами было отправлено 10 повозок из батарейного обоза.

Когда мы, проехав 20 верст, покинули район биваков нашей армии и углубились в живописные предгорья северной Манчжурии, то увидели перед собой совершенно другую страну. Все чаще и чаще стали попадаться обработанные поля, а вместо покинутых населением деревень обитаемые фанзы и неразрушенные кумирни.

Работавшие на полях китайцы бросали при нашем приближении мотыги и спешили к своим фанзам, где тотчас подымался плач женщин и запрягались арбы. Мы подъезжали к испуганным „манзам“ и объясняли им, что едем в Гирин, здесь оставаться не намерены и никого обижать не будем. Манзы вежливо улыбались, подымали вверх большие пальцы рук и говорили, что „капитанашибко шанго“, но мало верили нашим миролюбивым заверениям.

На вопрос, имеется ли у них для продажи чумиза (китайское просо), они отрицательно качали головами и показывали руками в сторону Гирина, где, по их словам, было „шибко много чхумиза“. А у них в деревне нет ни чумизы, ни гяоляна, ибо здесь недавно проходили хунхузы (разбойники) из шайки Чансолина и „тхун ломайло“ (все разграбили). В каждой деревне, встречавшейся нам по пути, повторялось то же самое, ни в одном дворе мы не видели ни голяновых стеблей, ни снопов чумизной соломы. И всюду жители называли имя того же предводителя хунхузов — Чансолина.

Вскоре мы встретили конный отряд китайских солдат, которыми командовал молодой, щеголевато одетый, офицер с синим стеклянным шариком на шапке, что указывало на его высокий чин. По наружному виду китайские солдаты ничем не отличались от „манз”, были одеты в такие же рваные кофты, лишь за плечами у них болтались наши русские берданки.

Китайский офицер объяснялся довольно хорошо по-русски. Он сказал нам, что приходится племянником гиринскому дэянь дзюню (губернатору), который послал его преследовать появившихся в этом районе хунхузов, предводительствуемых дерзким и жестоким Чансолином.

— Этот хунхуз, рассказывал нам племянник дэянь дзюня, грабит и богатых и бедных, сжигает прошлогодние запасы гяоляна и чумизы и жестоко расправляется с крестьянами, пытающимися скрыть зерно. Чтобы выведать у упорствующих, где зарыт гяолян (китайцы на зиму зарывают зерно в ямы), Чансолин пытает их, прожигая ладони тонкими чумизными угольками. А, выпустив упрямца то, что ему нужно, Чансолин сначала выкашивает зерно, а затем „делает кантрами” (рубит голову) хозяину.

Узнав о цели нашей поездки, китайский офицер предложил Митрофанову заехать в импани (усадьбу) его родственника, богатого землевладельца, у которого мы найдем нужный нам фураж. Мы присоединились к китайскому отряду и вскоре подъехали к расположенной в живописном ущельи „импани”.

Двор усадьбы китайского помещика был обнесен со всех сторон глинобитной стеной. По середине двора стояла длинная, разделенная на три комнаты, фанза, вокруг которой находился целый ряд амбаров, хлевов и чуланов. Во дворе возвышались громадные стога гаоляна и чумизной соломы.

Хозяин импани, пожилой и богато одетый китаец, провел нас в чисто прибранную фанзу, стены и пол которой были устланы новенькими циновками. Через несколько минут слуги принесли на лакированных подносах угощение: маленькие чашечки с горячей водой, ящик с несколькими сортами сухого чая и другой ящик с печеньем.

После чаепития Митрофанов приступил к делу, быстро сговорился с помещиком и вскоре все наши повозки были нагружены прекрасным зерном и соломой. По-

ручик, очень довольный результатами фуражировки, хотел было, несмотря на поздний час, двинуться в обратный путь. Но хозяин стал его отговаривать.

— Чансолин, как и все хунхузы, жаден, но труслив. Он никогда не осмелится напасть на вооруженных русских днем, но обязательно попытается ограбить вас ночью.

Так как было уже поздно и нам пришлось бы всю ночь ехать по незнакомым дорогам, то Митрофанов решил последовать совету хозяина и заночевать в импани.

Весь двор был полон скота и загроможден стогами соломы. Поэтому мы оставили наши повозки и лошадей за воротами, где вокруг костра расположились солдаты. А Митрофanova и меня гостеприимный хозяин пригласил на ужин.

Несмотря на наше предубеждение к китайской кухне, ужин этот понравился нам. Блюда, которых было не менее двадцати, подавались на маленьких тарелочках и состояли из цыплят, приправленного соей мяса, различных сортов риса и зелени. Все это было вкусно приготовлено и чисто подано.

Уже совсем стемнело. Мы кончили ужинать и курили, разговаривая с хозяином и его родственником. Вдруг снаружи раздались выстрелы и крики „Чансолин”.

Мы выбежали на двор и, натыкаясь в темноте на стога, пробрались к воротам и присоединились к нашим солдатам. Из ущелья загремели новые выстрелы и пули стали ударяться в стены импани.

Мы решили оставить нагруженные повозки за воротами, а лошадей ввести в импань и за ее стенами выдержать осаду. Положение наше было незавидное, ибо у нас не было винтовок. (Артиллеристы вооружены только шашками и револьверами). Тогда Митрофанов вспомнил о берданках китайских солдат и послал за ними. Но никого из этих храбрых воинов мы найти не могли. Исчез также и их начальник.

Из рассказов пограничников мы знали, что хунхузы смелы, когда не встречают отпора и, напротив, избегают столкновений с энергичным противником. Нам отнюдь нельзя было показать им, что средства нашей обороны так ничтожны. Поэтому Митрофанов приказал нам зарядить револьверы и занять стену по обеим сторонам ворот. По его команде мы начали стрелять выдержаными залпами в ту сторону, откуда явственно доносился

шорох приближавшихся хунхузов.

Хотя ни один из наших выстрелов не мог за дальностью расстояния ни убить, ни ранить кого-либо из нападавших, однако уже после второго залпа огонь хунхузов стал ослабевать. Вскоре он совсем прекратился, а еще через несколько минут до нас донесся топот удалявшихся от импани лошадей. Хунхузы скрылись и больше нас не беспокоили.

Когда все успокоилось, мы поставили у ворот часового и вернулись в фанзу, куда не замедлил явиться проявший во время тревоги китайский офицер. На наш вопрос, где он находился во время перестрелки, племянник дзянь дзюня ответил, что он со своими солдатами охранял наш тыл, заняв заднюю стену импани. Но мы не поверили нашему „защитнику”, и были правы, ибо всю ночь слышали, как он вытаскивал из чуланов, успокаивал и ругал своих перетрусивших воинов.

Через два дня мы благополучно вернулись в батарею, привезя с собой обильные запасы фуражка.

В бригаде мы узнали, что имя Чансолина уже известно в армии. Он был союзником японцев и по их заданию уничтожал в тылу нашей армии все запасы продовольствия и фуражка. Поэтому главнокомандующим за его голову была назначена высокая награда — 10.000 руб.

Через десять лет после японской войны Чансолин стал маршалом и диктатором Манчжурии.

20. КАЗНЬ.

С отходом наших армий на север от Телина обнаружилось, что у нас нет карт того района, в котором нам предстоит сражаться и маневрировать. Чтобы восполнить этот пробел, штаб армии предписал спешно приступить к производству так называемых „маршрутных съемок”. От каждого эскадрона кавалерии и каждой артиллерийской батареи было приказано нарядить партии съемщиков. От нашей батареи были назначены штабс-капитан Падейский, подпоручик Беляев, я и два фейерверкера. Нам было приказано произвести съемку от Годзядани до Маймакая, причем мы должны были следовать до Маймакая по одному маршруту, а возвращаться по другому.

Так как мы старались добросовестно исполнить воз-

ложеннюю на нас задачу, то двигались медленно и, сделав два привала, чтобы подкормить наших коней, только к вечеру прибыли в Маймакай.

Маймакай был первый китайский город, который мы видели. Нам хотелось его хорошенько осмотреть и начальник нашей партии — штабс-капитан Падейский — решил, что, переночевав в Маймакае, мы останемся в нем весь следующий день и только после второй ночевки двинемся в обратный путь

Город Маймакай находится на Большой Мандаринской дороге и окружен, как и большинство других китайских городов, высокой глинобитной стеной. В город ведут большие ворота с типичной башней. Тотчас при въезде находится кумирня, которую мы решили осмотреть. У входа в кумирню стояли часовые, поставленные квартирировавшим в Маймакае штабом 2-й армии. Мера эта способствовала сохранению кумирни. Все жертвенные идолы были целы и ничего из кумирни не было расхищено.

Весь следующий день был нами посвящен осмотру города.

Жизнь в Маймакае была ключем. В городе царил образцовый порядок, что составляло немалую заслугу штаба 2-й армии генерала Каульбарса. На улицах патрулировали военные полицейские, наблюдавшие за поведением солдат. Обыватели не боялись грабежей, поэтому, совершенно не стесняясь присутствием многочисленных офицеров и солдат нашей армии, спокойно продолжали свои обычные занятия.

Улицы кишили двигавшимся взад и вперед народом. Большинство обывателей повидимому занимались торговлей. Безконечный ряд лавок тянулся по обеим сторонам главной улицы. Все лавки, в которые мы входили, были удивительно похожи одна на другую: то же внутреннее оборудование и те же товары. Специальных магазинов, торгующих одним видом товаров (мануфактурных, обувных, бакалейных) я не видел. В каждом можно было купить всевозможные вещи, начиная с прекрасных шелковых материй и кончая чаем и лекарствами.

Уличная жизнь в городе была очень оживленной. Торговцы овошами, сладостями и съестными припасами, уличные сапожники и парикмахеры сидели на корточках перед своими лотками и инструментами, громко зазывая

покупателей и клиентов. Тут же расположились и рестораторы со своими жаровнями, распространявшими удушливый чад и нестерпимую вонь столь любимого китайцами бобового масла.

Потолкавшись в этой толпе и закупив разных безделушек — вееров, лакированных шкатулок и лубочных картин, мы отправились обедать в этапную столовую.

— Хотите посмотреть на казнь? — спросил нас обедавший вместе с нами этапный комендант.

И, видя по нашим физиономиям, что такое зрелище нас мало прельщает, он стал подтрунивать над нашей „сентиментальностью”.

— Вы должны все повидать на войне! Тут смерть кругом нас ходит, нужно привыкать смотреть ей в глаза! Собирайтесь и пойдем!

Мы вышли на улицу. На этот раз она казалась более оживленной, а толпа — празднично настроенной.

— Сегодня будут „кантрамить” трех хунхузов, пойманных на месте преступления, при попытке поджечь наш армейский склад фуражка, — сказал комендант. — Сейчас их повезут к городским воротам и там, в поле, казнят. Китайцы очень любят такие развлечения. Увидите, как они повалят на место казни.

И в самом деле: толпы китайцев, оживленно жестикулируя и громко переговариваясь, с веселым смехом направлялись, как на праздник, к городским воротам. Мы влились в толпу и, миновав большую кумирню, пошли к воротам, украшенным изображениями драконов и других чудовищ. Толпа все увеличивалась. Скоро раздались звуки унылой китайской музыки, и на улице, приближаясь к воротам, показалась оригинальная процессия. Впереди, сопровождаемый тремя помощниками, шел палач, несший на плече длинный и узкий меч в бархатных ножнах. За палачем шли музыканты с длинными трубами, пищалками, бубнами и барабанами. А за музыкантами ехала запряженная волами и ослами арба. На ней сидели с завязанными за спиной руками — три смертника. К моему величайшему удивлению, смертники весело скалили зубы и переговаривались с окружавшей арбу публикой.

Проехав ворота и свернув с большой Мандаринской дороги, арба остановилась на широкой площадке. На этой площадке чуть-ли не ежедневно происходили казни,

поэтому она была плотно утрамбована ногами зевак.

К арбе подошли помощники палача и, схватив хунхузов за косы, стащили их на землю. Толпа окружила палачей и осужденных. Каждый старался пробиться вперед, чтобы насладиться зрелищем казни. Китайские солдаты, напоминавшие своим видом настоящих оборванцев, с помощью длинных бамбуковых палок расчистили необходимый палачу и его помощникам плацдарм. Смертников развели на десять шагов один от другого. Они сами торопливо опустились на колени, продолжая переговариваться и с любопытством поглядывали на палача, который, вынув из ножен свою длинную и узкую, острую, как бритва, саблю, пробовал ее на ноготь.

Палач и его помощники подошли к первому из стоявших на коленях хунхузу. Помощник палача встал против смертника, схватил его косу и, натянув ее, вытянул голову осужденного. Палач, вставший сбоку, сделал быстрое и неуловимое движение, сабля блеснула на солнце и голова казненного, будто привязанная к косе, очутилась в руках помощника палача, а труп ткнулся в землю окровавленным обрубком шеи.

— Хо! — раздались одобрительные крики из толпы. Двое ожидавших своей очереди смертников, с интересом наблюдавшие за работой палача, также крикнули „хо“ и, улыбаясь, закивали головами, указывая друг другу на труп товарища.

Палач, самодовольно улыбаясь, как артист, хорошо сыгравший свою роль, подошел к следующему. Повторилась та же сцена. Второй труп так же ткнулся обрубком шеи в землю и толпа снова крикнула „хо“. Палач в третий раз взмахнул саблей и громкие одобрения зрителей в третий раз наградилнского заплечных дел мастера.

Толпа, обмениваясь впечатлениями, начала расходиться.

Комендант закурил папиросу.

— Ну вот и все, сказал он спокойным голосом: вы видели, как бесстрашно шли на казнь эти хунхузы? Ведь китайцы нисколько не боятся смерти. А эти трое даже радовались, что так дешево отделались и что их перед смертью не пытали. Китайцы очень боятся пытки. Поэтому китайские солдаты и кажутся нам трусами: они знают, что если попадутся в плен хунхузам, то подвергнутся сперва жестоким пыткам и только после таких муче-

ний будут обезглавлены!

Я еще никогда не видел казни, но, читая их описания, знал, какое тягостное и отвратительное впечатление производят они на зрителей. А между тем только что виденная мною казнь никакого тяжелого впечатления на зрителей не произвела. Более того — я видел, что она доставила толпе большое удовольствие.

— Вы не удивляйтесь, сказал капитан, посмотрев на мою недоумевающую физиономию: китайцы относятся к смерти совершенно равнодушно. Они считают, что человек посыпается на землю в наказание и что смерть является избавлением от такого наказания. Тот хунхуз, которого казнили первым, дал вероятно крупную взятку палачу за право быть казненным раньше своих товарищ. Ведь китайцы верят, что умерший раньше становится в раю господином тех, кто умирает после него.

Мы вернулись на этап, и я принялся дочерчивать маршрутную съемку. Но ужинать в этот вечер я не мог...

21. ПОБЕГ.

На следующий день, закончив съемку, мы вернулись на бивак.

Потянулись скучные, однообразные дни.

Иногда разносилась слухи о готовящемся наступлении. Тогда бивак ожидал. Начальство осматривало лошадей, фейерверкеры ввинчивали в шрапNELи дистанционные трубы, а „курлябчики“ зажигали церковные свечи и пели церковные гимны. Но через некоторое время слухи эти опровергались и наступившее оживление замирало.

И вдруг нас поразила весть о Цусимской катастрофе. Единственная газета, которую мы регулярно получали — „Вестник Манчжурских армий“ — постепенно подготовляла нас к этому трагическому известию. В ней появилась лишь краткая телеграмма о начавшемся у берегов Японии морском сражении, в котором японцы якобы понесли огромные потери. О наших потерях не было сказано ни слова. И только на седьмой день было опубликовано официальное сообщение о постигшем Россию ужасном поражении.

Последняя надежда выиграть войну была потеряна.

Тяжелое чувство охватило нас, молодежь. Все мы отправились на войну добровольно, пожертвовав своей карьерой: подпоручикам оставалось всего несколько месяцев до окончания дополнительного курса училища, дававшего им большие преимущества перед офицерами, кончившими только два курса; я же вышел из Пажеского корпуса также за несколько месяцев до перехода в специальные классы, не имел теперь никакой надежды быть принятным обратно и оставался с незаконченным образованием. Тогда, в 1904-ом году, все это нас не останавливало, мы были воодушевлены идеей и верили, что наша армия в конце концов одолеет храброго и сильного противника. А теперь, что дало нам поступление в действующую армию?

Надежды испытать войну, пережить все ее невзгоды и опасности и проявить себя каким-либо подвигом — рушились. Мы ничего не испытывали, кроме горького разочарования, фуражировок в тылу, и ничего не видели, кроме чужой, неприветливой и разоренной нами страны. Стоило ли ради этого жертвовать карьерой и отказываться от тех преимуществ, которыми будут пользоваться наши, оставшиеся в Петербурге, товарищи?

И я решил во что бы то ни стало пробираться на позиции и принять участие в военных действиях. Вернуться из Манчжурии, не испытав таких переживаний, я считал для себя невозможным.

Не отдавая себе отчета в том, какие последствия может вызвать такой поступок, я решил прикомандироваться явочным порядком к одной из находившихся на передовых позициях частей. В одно прекрасное утро, оседлав своего коня „Капитана“ и сказав фельдфебелю, что я еду на станцию, я отправился на юг. К вечеру, проехав 50 верст, я приехал на биваки Оренбургской казачьей дивизии генерала Грекова.

Казаки приютили меня, и когда на следующее утро одна из сотен 8-го Оренбургского полка выступила в сторожевое охранение — я поехал с ней. Командиру сотни я сказал, что имею разрешение пробыть несколько дней на позициях и он передал меня уряднику, назначенному начальником полевого караула. К моему огорчению японцы не имели никакого желания не только атаковать, но даже обстрелять наше охранение. Ночь, во время которой я стоял „подчаском“, прошла спокойно.

На следующий день, когда моя сотня сменилась другой, я попросил разрешения остаться в карауле и новый начальник охранения — подъесаул Греков — согласился. На этот раз мне повезло. Соседний отряд производил разведку. Японцы обстреляли разведчиков и, когда они отступили, завязалась перестрелка и на нашем фронте. Мое заветное желание исполнилось: несколько японских пуль просвистали над моей головой и я принял „боевое крещение“.

Пробыв три дня у оренбуржцев, я решил вернуться в свою батарею. Назад я возвращался с неспокойным сердцем. Я знал, что мое отсутствие не может остаться незамеченным, и что мне предстоит неприятный разговор с командиром батареи. Мое предчувствие оправдалось. Подполковник Деггелер встретил меня не особенно приветливо:

— Где это вы пропадали, юноша? — спросил он, когда я встретился с ним на коновязи.

Я рассказал ему о своих похождениях и чистосердечно сознался в своем проступке.

— Здесь, батенька, не Пажеский корпус, а действующая армия,—сказал Деггелер, выслушав мои объяснения: знаете ли вы, как наказывается самовольная отлучка в военное время? Я должен доложить о вашем проступке командиру бригады. Отправляйтесь в свою палатку и никуда из нее не выходите!

Вскоре к моей палатке был приставлен часовой с обнаженной шашкой и я понял, что значит быть арестованым.

Трое суток я просидел в палатке, куда мне приносили из батареи обед и ужин. На четвертый день меня посетил бригадный адъютант — штабс-капитан Рысин.

— Что это вы натворили? спросил адъютант, стараясь принять суровый вид.

Я сразу заметил, что штабс-капитан с трудом сдерживает улыбку и успокоился.

— Ваше счастье, что командир бригады решил арестовать вас всего на семь суток! Но могло быть много хуже! Ну, а теперь расскажите, как вы воевали? Генерал хочет знать о ваших похождениях!

Я рассказал Рысину о том, как две ночи провел на посту подчаском и как японские пули свистели надо мной, с гордостью подчеркнув, что принял боевое крещение.

— Может быть генерал Булатов разрешит мне теперь, после того, как я отбуду наказание, вернуться к казакам?

— Нет, теперь генерал вас уже никуда больше не отпустит из бригады! Таких мальчуганов, как вы, надо держать в строгости, иначе вы опять чего нибудь натворите!

Я просидел под арестом еще пять суток. За это время я обдумал свое положение и пришел к печальным выводам. Чего я достиг своим бегством из Пажеского корпуса? Войны я в сущности еще не испытал, а она скоро кончится. Бригада вернется в свой захолустный гарнизон, я, как вольноопределяющийся первого разряда, буду произведен в прапорщики и не смогу вернуться в корпус. Если бы я участвовал хотя бы в одном сражении и получил бы боевую награду, то мог бы просить о возвращении в какое-либо военно-учебное заведение. Но бригадное начальство не хочет и слышать о командировке меня в передовой отряд, а моя гастроль у оренбургских казаков считаться за участие в военных действиях — не может...

И вдруг я вспомнил, что начальником штаба 1-й армии является генерал Алексей Ермолаевич Эверт. Генерал Эверт был приятелем моего деда Н. М. Баранова, хорошо знал нашу семью и часто бывал у нас в доме. Со мной и моими младшими дядями он всегда шутил и мы называли его „дядей Алешей”.

— Надо во что бы то ни стало повидать „дядю Алешу”, решил я: если он не поможет, тогда уж ничто меня не спасет!

И, когда часового сняли и я снова оказался на свободе, то тотчас же отправился к командиру батареи и стал просить его разрешения съездить в штаб армии.

Сначала подполковник Деггелер наотрез отказал мне. Но потом, узнав, что я хочу повидать генерала Эверта, которого называл „дядей Алешей”, согласился.

— Но одного я вас не отпущу! Вы поедете с фейерверкером, а то опять куда нибудь удерете!

На следующий день я, под конвоем фейерверкера Хромчука, приехал в город Херсус, где находился штаб армии. Как и следовало ожидать, меня — рядового солдата — к начальнику штаба не пропустили. Тогда я написал Алексею Ермолаевичу записку, которую ординарец согласился передать генералу.

— Каким образом ты попал на войну? спросил Эверт,

ласково потрепав меня по щеке, когда я в конце концов попал в его фанзу.

Я рассказал ему о моих похождениях и просил помочь моему горю.

— А что скажет мама, если я пошлю тебя в передовой отряд, — спросил улыбаясь А. Е.; не дай Бог, что нибудь с тобой случится — ведь я окажусь тогда виноватым, и она никогда мне не простит?

Видя, что он уже колеблется, я начал умолять Алексея Ермолаевича помочь мне.

— Мама уже свыклась с тем, что я на войне. Она знает, что на войне всё может случиться, но ведь она дочь Николая Михайловича Баранова! Вы думаете, что ей не будет обидно, если ее сын всю войну пробудет в тылу?

Этот аргумент подействовалъ на Алексея Ермолаевича.

— Ну, хорошо, — сказал он, — я помогу тебе, только обещай, что будешь благоразумным и ни в какую авантюру не полезешь!

Я пообещал. Эверт сел за письменный стол, написал письмо, запечатал его и передал мне. На конверте стояло: „Его высокопревосходительству, командиру 4-го арм. корпуса генералу-от-инфanterии Маслову”.

Я горячо поблагодарил доброго дядю Алешу, рас прощался с ним и гордым и счастливым вернулся в свою батарею.

Подполковник Деггелер проникся большим почтением к конверту, который я ему показал, и немедленно — на этот раз без конвоя — отпустил меня в Годзядань, в штаб корпуса. А через три дня я был прикомандирован к передовому отряду 4-го корпуса, занимавшему стражевое охранение между Шуанмяузой и Чантуфу.

22. ГОЛОДНАЯ СОПКА.

Начальник передового отряда 4-го армейского корпуса — войсковой старшина Николай Михайлович Иолшин — пользовался в армии репутацией чудака и оригинала. Интересной была и необычайная карьера этого незаурядного офицера. Молодым подпоручиком гвардейского пехотного Семеновского полка он поступил

в Академию Генерального Штаба, курс которой окончил одним из первых. Прослужив затем, как офицер генерального штаба, некоторое время в штабах кавалерийских дивизий, Иолшин полюбил кавалерийское дело и решил перевестись из генерального штаба в строй одного из драгунских полков. Этим переводом он поставил крест над своей карьерой, и все товарищи по академии быстро обогнали его по службе. Во время русско-японской войны Иолшин был всего лишь подполковником, а его товарищи давно уже командовали дивизиями. Страстно любя военное искусство, он поставил себе целью участвовать во всех войнах, где бы они не происходили. Преследуя эту цель, Иолшин участвовал в греко-турецкой, англо-бурской и испано-американской войнах, совершил в 1900-м году китайский поход, и теперь принимал участие уже в пятой войне..

Отряд, которым командовал Иолшин, состоял из 16-ти охотничих команд. (В каждом из восьми полков корпуса были сформированы пешая и конная охотничьи команды, от 80 до 100 штыков каждая). Личный состав команд, обучение и дисциплинированность их — не оставляли желать лучшего. Конные охотники, конечно, не могли равняться с регулярными кавалеристами, но и возлагавшиеся на них задачи не требовали специальных кавалерийских познаний. Сидели они на маленьких, чрезвычайно злых и упрямых, монгольских лошадках, с которыми, однако, великолепно справлялись. Ни артиллерии, ни пулеметов и даже полевых телефонов — в отряде не было.

В начале отряд Иолшина занимал линию сторожевого охранения по обеим сторонам железной дороги, входя в состав авангарда 8-го армейского корпуса. Соседями нашими были: на востоке — отряд 2-го Сибирского корпуса полковника князя Трубецкого, на западе — оренбургский казачий полк полковника Волжина.

Через несколько дней после моего прибытия отряд наш был разделен на два. Шесть охотничьих команд поступили под начальство войскового старшины Шишкина и остались занимать охранение на восток от жел. дороги, другие десять команд Иолшина получили участок на запад от жел. дороги.

Деятельность нашего отряда была очень оживленной. Иолшин с утра до поздней ночи находился на пе-

редовой линии, наблюдая в бинокль расположение японских застав. Выезжая на позиции, он брал с собой своего деньщика Ничипуренко и двух ослов, на которых навьючивалось все движимое имущество подполковника. Деньщик и ослы должны были следовать в свите Иолшина, которую составляли: начальник штаба капитан Якобсон, четыре ординарца, трубач и казак, возивший отрядный значек. Со всей этой свитой Иолшин галопом носился от заставы к заставе, по долине, отделявшей наши посты от японских. Японцы, конечно, не пропускали такого случая и открывали по кавалькаде сильный ружейный огонь.

Всех прибывших по какому-либо случаю в отряд, Иолшин обязательно брал с собой на объезд позиций и подвергал „боевому крещению”. Иногда эти „крещения” оканчивались трагически. Так, на третий день моего пребывания, при объезде позиций, был смертельно ранен прибывший в распоряжение Иолшина подполковник 118-го пех. Шуйского полка Евдокимов.

Иолшин назначил меня своим ординарцем. Кроме меня, ординарцами начальника отряда были: зауряд-прапорщик Фотинский, вольноопределяющийся Клобуцкий и урядник Протопопов. Все ординарцы вскоре привыкли к характеру и требованиям Иолшина. Только штабс-капитан Якобсон никак не мог примириться с „фантазиями и наездничеством” этого бешеного „сумасбродца”, как он называл Иолшина.

Вечером, 25-го июля, Иолшин собрал в свою фанзу всех офицеров и объявил, что ровно в полночь выступает с отрядом для производства усиленной разведки.

С соблюдением строжайшей тишины, восемь команд (две остались в сторожевом охранении) тронулись с бивака и сосредоточились за „Зеленою сопкой”. Во время предыдущих разведок Иолшин рассмотрел и нанес на карту все находившиеся против нашего участка японские заставы. Он намеревался, прорвав в двух местах линию неприятельского охранения, окружить главную японскую заставу, занимавшую укрепленную „Голодную сопку”. Объяснив задачу всем офицерам и унтер-офицерам, Иолшин послал поручика Вишневского с пешей командой Шуйского полка обойти Голодную сопку и атаковать японцев с тыла. С остальными командами мы двинулись к занятой японскими постами деревне Эрдагоу.

Начинало светать. Мы подошли к передовым фанзам Эрдагоу, в которой царила мертвая тишина. Из крайней фанзы выглядывали перепуганные китайцы.

— Ипен ю (японцы есть)? — спросил их Иолшин.

— Ю, ю, — закивали китайцы: два ли — шибко много ипэн.

Охотники перешли вброд речку и, рассыпавшись цепью, вошли в высокий гаолян, совершенно скрывший весь отряд. Прошло несколько минут.

— Та-ку, раздался первый выстрел. Вслед за ним затрещала по всему нашему фронту оживленная перестрелка, и пули с жалобным свистом зашелестели по гаоляну. Эрдагоу был занят нами.

Иолшин рассыпал нас то в одну, то в другую из наступавших команд. Он стал беспокоиться за шуйцев, ибо дело затягивалось, и к японцам могли подойти подкрепления.

Но вот впереди раздалось „ура”. Перестрелка сразу оборвалась. Иолшин пришпорил коня, и мы поскакали к занятому японцами гребню. И тут мы заметили спускавшихся с него шуйцев. Впереди команды шел радостно возбужденный Вишневский, рядом с ним гордо выступал с забинтованной рукой раненый охотник, а за ними, окруженные со всех сторон нашими солдатами, шли маленькие люди в фуражках с желтыми околышами.

Шуйцы молодцами справились со своей задачей. Японцы, отвлеченные наступавшими с фронта командами, не заметили обхода, и Вишневский без выстрела атаковал их с тыла. Вся застава — офицер и 21 солдат — были захвачены в плен, а двое яростно отбивавшихся и не пожелавших сдаться — заколоты.

Поиск удался вполне. Иолшин приказал прекратить бой и отходить на линию сторожевого охранения.

Взятые нами пленные держались очень корректно, вытягивались в струнку перед офицерами, но вежливо отказывались отвечать на расспросы о расположении японских войск. Офицер, имевший на груди медаль за отличие под Порт-Артуром, был очень смущен своим пленением, но вскоре оправился от него и принял предложение позавтракать с нами. Затем под конвоем двадцати охотников пленные были отправлены в тыл.

Пленение 22-х японцев, в том числе офицера, составляло в описываемый период крупное событие. О нем не

только появилось сообщение в „Вестнике маньчжурских армий”, но было даже упомянуто в очередной телеграмме главнокомандующего Государю.

Ввиду разделения передового участка между отрядами Иолшина и Шишкина, штаб нашего отряда был перенесен из Шуанмяузы в деревню Талимпао, находившуюся в трех верстах к западу от станции Шуанмяуза. Вечером 27-го июля мы перешли на новый бивак.

На рассвете 30-го июля, прискакавший с главной заставы охотник разбудил нас донесением о начавшемся наступлении японцев.

Поднялась обычная в таких случаях суматоха. Вестовые седлали коней, денщики бегали по фанзам, собирали и вычищили господские вещи, офицеры спешно одевались и выбегали на двор. В предрассветной тишине ясно раздавались звуки всё приближавшейся и усиливающейся перестрелки.

Наши команды были расквартированы довольно разбросанно, в 2-3 верстах от Талимпао. Они не были связаны телефоном со штабом. Поэтому Иолшин приказал ординарцам скакать по командам и вести их к штабу. Вскочив на коня, я помчался в соседнюю деревню, в которой находились команды 119-го Коломенского и 120-го Серпуховского полков. Не успел я отъехать и версты от Талимпао, как попал под сильнейший огонь японцев. Оказалось, что противник, обойдя с флангов занимавшее сторожевое охранение команды 117 Ярославского и 118 Шуйского полков и, воспользовавшись черезчур поспешным отступлением отряда Шишкина,шел в тыл нашему охранению и окружил нас с трех сторон.

Коломенцы и серпуховцы, встревоженные начавшейся перестрелкой, были уже построены и беглым шагом подошли к штабу. Иолшин разобрался в обстановке и решил прежде всего ити на выручку двух отрезанных на передовых позициях команд. В это время японцы, заметив начавшееся в Талимпао движение, начали обстреливать нас артиллерийским огнем.

Рассыпав в цепь пешие команды и оставив в резерве четыре конных, Иолшин перешел в контрнаступление. Вдруг на нашем правом фланге, в двух верстах от Талимпао, показались два эскадрона, шедшие на рысях по направлению к Шуанмяузу. Мы приняли их сначала

за отступавших оренбуржцев, но вскоре увидели, что это не казаки, а японские драгуны.

Не долго думая, Иолшин, во главе четырех конных команд, бросился галопом на перерез японской кавалерии. Так как конные охотники не имели ни шашек, ни пик, атака эта могла кончиться для нас очень печально. Однако, этот безумно смелый маневр Иолшина завершился полным успехом. Приняв винтовки с примкнутыми штыками, болтавшиеся за спинами охотников, за казачьи пики, японцы уклонились от боя и, повернув назад, быстро скрылись в гаоляне. Задуманный ими глубокий обход нашего тыла и занятие Шуанмяузы были предотвращены.

После этой, недоведенной до конца, атаки, весь отряд наш начал энергично продвигаться вперед, соединился с оставшимися на передовых позициях ярославцами и шуйцами, и вскоре вся передовая линия была вновь нами занята. Неприятель, прикрываясь артиллерийским огнем, отступил по всему фронту.

Наши потери оказались довольно значительными: ярославцы потеряли трех охотников убитыми, шуйцы одного убитым и двух без вести пропавшими, остальные команды восемь ранеными.

Заняв линию нашего сторожевого охранения, мы выяснили, что оба соседних участка — полковника Волжина и войскового старшины Шишкина — никем не заняты, и фланги нашего отряда совершенно обнажены.

Тогда Иолшин приказал четырем командам занять эти участки и отправил в штаб авангарда донесение о том, что он отбил наступление противника, восстановил прежнюю передовую линию и занял своим отрядом оставленные полковником Волжиным и войсковым старшиною Шишкиным позиции.

Нам пришлось двое суток занимать участки всех трех отрядов, так как наши соседи не только отступили до авангардных позиций, но своими донесениями о начавшемся „общем наступлении японцев“ так напугали начальника авангарда, что он, с двумя полками и тремя батареями, также бросил авангардные позиции и поспешил отступить к Сыпингаю.

23. ПЕРЕМИРИЕ.

Лавры Иолшина, совершившего удачный поиск, захватившего в плен целый взвод японцев и отбившего неприятельское наступление, не давали спокойно спать не только начальникам соседних отрядов, но и многим другим.

А между тем, мирные переговоры в Портсмуте за-канчивались, и с минуты на минуту можно было ожидать официального сообщения о заключении мира и распоряжения о прекращении военных действий. Это отнюдь не входило в расчеты только что прибывших в армию адъютантов, ординарцев и других „фазанов“ (так называли строевые офицеры приезжавших из Петербурга за получением боевых наград генералов и офицеров).

Так как число „рвущихся в бой“ все увеличивалось, то приказом по 2-й армии была назначена на 1-е августа усиленная рекогносцировка по всему фронту армии. Общее начальство над передовыми отрядами на этот день было передано недавно приехавшему из Петербурга гвардейскому полковнику Орановскому.

Задача, которую получил наш отряд, была неясной. В ней говорилось об энергичных, и в то же время осторожных действиях и запрещалось, в случае успеха, глубоко вторгаться в район, занятый противником.

Иолшин решил использовать усиленную разведку для того, чтобы окончательно завладеть „Голодной сопкой“, на которой наш отряд захватил в плен японскую заставу. Сопка эта доминировала над нашими позициями, и овладение ею давало нам возможность перенести всю передовую линию на более выгодные позиции.

С раннего утра 1-го августа началось по всему фронту наступление наших отрядов. Охотники легко оттеснили японцев, оказавших только слабое сопротивление. Вскоре Голодная сопка была занята нами, и Иолшин приказал укрепить ее окопами и проволочными заграждениями.

Но оставление в наших руках Голодной сопки не входило в расчет японцев. Они принялись обстреливать сопку и прилегавший к ней район артиллерийским огнем. Между тем, соседние отряды, потревожив и слегка потеснив противника, считали свою задачу выполненной.

ной и начали отступать. Все внимание японцев сосредоточилось на отряде Иолшина, зекреплявшемся на отбитых от неприятеля позициях.

Правее нас отступали оренбургские казаки, которым была придана только что прибывшая на фронт гвардейская конно-пулеметная команда, вооруженная датскими ружьями-пулеметами. Начальник этой команды — поручик Эксе — видя, что на нашем участке завязывается серьезное дело, по собственной инициативе спешился и, заняв позицию на нашем правом фланге, открыл огонь по японским цепям. Коноводы пулеметчиков отошли назад к прикрывавшей их сотне казаков. Одна из японских шрапнелей разорвалась над этой сотней и казаки отступили, захватив с собой коноводов пулеметной команды. В это время ординарец полковника Орановского привез приказание об общем отступлении. Поручик Эксе оказался в затруднительном положении. На него наступали сильные японские цепи, задержать их своими ружьями — пулеметами он не мог, отступать было не на чем.. Тогда поручик обратился к начальнику нашего отряда с просьбой дать прикрытие и лошадей для его пулеметов. Иолшин приказал конной команде 117 Ярославского полка вывести пулеметы и доставить их в штаб отряда.

Соседние отряды давно уже отступили, но Иолшин, несмотря на угрожавший его отряду охват флангов, пытался удержать Голодную сопку. Но через некоторое время обнаружилось, что японцы сосредоточили против нашего участка целую бригаду и нам пришлось отойти также на нашу передовую линию.

Завладев снова Голодной сопкой, японцы прекратили дальнейшее наступление и бой затих.

Иолшин был страшна раздосадован такой неудачей и вполне правильно критиковал действия и распоряжения полковника Орановского. Наш „сумасброд“ не знал, что „усиленная рекогносировка“ была задумана и проведена лишь для того, чтобы дать возможность прибывшим к концу войны „фазанам“ заслужить боевые награды. Поэтому он недоумевал, почему Орановский, имея полную возможность удержать занятые нами японские позиции, так поспешно отступил, не попытавшись даже оказать сопротивление наступавшему неприятелю?

Когда мы вернулись в Талимпао, начальник конно-пулеметной команды, нашедший своих коноводов, явился

к Иолшину, поблагодарил его за оказанную помощь и попросил вернуть его ружья-пулеметы. Но Иолшин, обозленный на высшее начальство, притворился, что ничего не знает о происхождении этих, оказавшихся в его отряде, пулеметов.

— Никаких ваших пулеметов я не видел, резко ответил он поручику: одна из моих команд подобрала на поле сражения брошенные кем-то пулеметы, и эти пулеметы являются моими трофеями.

Поручику Эксе так и пришлось уехать из нашего отряда с коноводами, но без пулеметов.

Происшествие с гвардейскими пулеметами и постоянные нарекания Иолшина на действия начальника авангарда кончились тем, что нашему отряду было приказано, сдав передовой участок оренбургским казакам, вернуться в Годзядань.

Отывать одного Иолшина, который за время командования отрядом бесспорно отличился, казалось не совсем удобным. Оставлять же его на передовых позициях, когда заключение мира было предрешено, являлось и нежелательным и опасным. Поэтому его отряд был отозван „на отдых”.

После четырех недель, проведенных на передовых позициях, мне не хотелось возвращаться на скучный бивак под Годзяданем. За отличие в делах 26-го и 30-го июля я был произведен в стршие фейерверкеры и представлен к георгиевскому кресту (знаку отличия Военного ордена.). По приказу главнокомандующего все вольно-определяющиеся 1-го разряда, участвовавшие и отличившиеся в боях, предназначались к производству в прапорщики для замещения вакантных офицерских вакансий. Воспользовавшись этим приказом, я добился разрешения вернуться на позиции, где мне хотелось присутствовать при последнем акте войны — заключении перемирия.

Было известно, что тотчас по ратификации мирного договора произойдет встреча русских и японских парламентеров и что встреча эта состоится между нашими и японскими передовыми постами на линии железной дороги.

Мне повезло. 28-го августа, в день заключения перемирия, я, в качестве начальника заставы на Зеленой сопке, был свидетелем встречи парламентеров.

Около 11 час. утра к нашей заставе, в сопровождении командира корпуса, начальника передового отряда, нескольких адъютантов и полевых жандармов, подъехал генерал-квартирмейстер штаба главнокомандующего.

Спешившись, начальство начало смотреть в сторону неприятеля, с нетерпением поджиная появления японских парламентеров. Но японцы, как победившая сторона, не торопились и заставляли себя ждать.

Более часа провели наши парламентеры на Зеленои сопке и, проголодавшись, приступили было к завтраку, как вдруг с японской стороны показались несколько всадников. Передовой вез белый парламентерский флаг..

Наши парламентеры бросили свой завтрак, сели на коней и поехали навстречу японцам. Высланный вперед трубач также развернул белый флаг.

Парламентеры встретились как раз на середине долины, разделявшей передовые посты обеих армий. С заставы было видно, как наш и японский генералы обменялись рукопожатиями, слезли с коней и уселись в тени дерева над развернутыми картами. Свита почтительно отошла в сторону.

Целый час просидели генералы под деревом, склонившись над картами.

Наконец, обменявшиеся снова рукопожатиями, они сели на коней и шагом поехали к своим позициям. Командир корпуса, поздравив находившихся в заставе солдат с заключением „почетного для России мира”, объявил о прекращении военных действий.

Последний акт злополучной войны был сыгран. Занавес опустился.

Я вернулся в бригаду и с грустью думал, что через несколько недель буду произведен в прапорщики с тем, чтобы до конца демобилизации армии остаться в какой-либо полуразрушенной манчжурской деревушке.

Началось томительное стояние под Годзяданью. И офицеры и солдаты стремились домой, но было ясно, что о скором возвращении в Россию нашего корпуса, который прибыл на театр военных действий одним из последних, не может быть и речи. Так прошел весь сентябрь. До нас стали доходить известия о происходивших в России беспорядках и волнениях. Среди солдат началось брожение. Раздавались голоса, что и солдатам надо устроить „забастовку” и требовать от начальства

немедленного возвращения мобилизованных частей в Россию.

1-го октября в бригаде была получена обрадовавшая меня телеграмма главного начальника военно-учебных заведений великого князя Константина Константиновича, гласившая, что, по высочайшему повелению, я вновь определяюсь в Пажеский корпус для окончания образования. На основании этой телеграммы штаб армии предписал отправить меня немедленно одиночным порядком в Петербург. Таким образом я избавлялся от производства в прапорщики и получал возможность закончить свое образование.

Сердечно рас прощавшись с офицерами бригады и с солдатами своей батареи, я на следующий же день, получив предписание, воинский билет и кормовые деньги, отправился в Гунжулин.

В Гунжулине чувствовалась гораздо более напряженная атмосфера, чем на нашем биваке. На вокзале стояла толпа солдат, враждебно посматривавших на отезжающих в тыл офицеров. Из этой толпы раздавались угрозы выгнать офицеров из поезда, но усиленные патрули этапной роты сдерживали толпу и не подпускали солдат к вагонам. Ознакомившись с моими бумагами, комендант станции дал мне нумерованное место в вагоне третьего класса, в котором ехали обер-офицеры, чиновники и сестры милосердия. Вагон был битком набит и пассажиры с нетерпением ожидали отправления поезда. На платформе гуляла толпа самовольно отлучившихся из своих частей солдат, пришедших на станцию с надеждой каким-либо способом пристроиться в отходящем на север поезде. Перед самым отправлением поезда несколько запасных ворвались в вагон. Началась паника, зазвенели разбитые стекла, и прибежавшие патрули с трудом оттеснили толпу от поезда. Ворвавшиеся в вагон были арестованы и под конвоем отведены к коменданту. Остальные с ругательствами разошлись, но вскоре кучки солдат стали снова собираться на платформе. Пассажиры нашего вагона нервничали, опасаясь нового нападения запасных, а поезд, как нарочно, продолжал стоять, хотя час его отправления уже давно прошел.

Наконец один за другим прозвенели звонки, и поезд наш двинулся в путь, увозя тех счастливцев, которым удалось вырваться из опостылевшей всем Манчжурии.

24. СОЛДАТСКАЯ ВОЛЬНИЦА.

Мое возвращение в Петербург сопровождалось многими переживаниями и приключениями.

Воспоминания о пережитом на Великом Сибирском пути остались у меня на всю жизнь. И когда в 1916-м году мне пришлось увидеть разруху, царившую в запасных полках, томившихся в них без дела, без сапог и без оружия мобилизованных сорокалетних фабричных и крестьян, также, как и в 1905-м году пртиклинивших свое начальство и всех, носивших „ясные погоны”, я ясно представил себе, что конец войны с немцами выльется в такую же солдатскую „вольницу”, какую я наблюдал при возвращении из Манчжурии.

Ибо, как это ни странно, люди, ответственные за судьбы России и стоявшие во главе армии и военного министерства, забыли уроки 1905 года и как будто умышленно старались добиться повторения этой стихийной „вольницы”.

В Гунжалине я видел впервые вспышки созревавшего возмущения солдатской массы. На Великом Сибирском пути я наблюдал уже разгоревшийся пожар, который удалось локализировать только благодаря тому, что он вспыхнул на ограниченном одноколейной железной дорогой пространстве. То, что в 1904-м году явилось одной из причин военного поражения России, спасло ее в 1905 году от анархии и новой „Пугачевицы”.

В Харбине было уже известно, что началась всеобщая забастовка и что движение по Забайкальской и Сибирской дорогам приостановлено. Мои попутчики полагали, что ехать дальше нет никакого смысла: все равно придется застрять на станции Манчжурия.

Но я решил не оставаться в Харбине, в котором царил настоящий „пир во время чумы” и, надеясь на какуюнибудь случайность, в тот же вечер выехал с последним пассажирским поездом. Следующий отправился только через 15 дней.

Кроме меня, в отделении 3-го класса ехали интендантский зауряд-чиновник, купец-сибиряк, торопившийся вернуться к себе в Иркутск, и два солдата-пограничника. Забравшись на верхнюю полку, я снял сапоги и накрывшись шинелью заснул богатырским сном.

Когда я на следующее утро проснулся в Цицикаре, отделение наше значительно опустело. Исчезли оба пограничника, но с ними исчезли также мои сапоги и новая папаха.

Спутники приняли живейшее участие в постигшей меня беде. Купец великодушно пожертвовал мне своиочные туфли, а зауряд-чиновник старую интендантскую фуражку. В таком виде я и приехал на станцию Манчжурия.

Дальше ехать оказалось невозможным.

Движение было полностью приостановлено, и вся линия Забайкальской дороги находилась в руках стачечного комитета. Вокзал был битком набит приехавшими из Харбина и немогущими отправиться дальше военными и штатскими пассажирами. Не только диваны и стулья, но и все столы в залах всех трех классов были заняты людьми, узлами и чемоданами. Оставаться на станции было немыслимо. Узнав, что в поселке при станции есть этап, я вочных туфлях и интендантской фуражке отправился разыскивать этапного коменданта.

Добродушный старичек комендант с недоумением взорвался на меня и, ознакомившись с моим предписанием, долго допытывался, почему я возвращаюсь в Петербург в таком маскарадном костюме. Узнав, что мене обокрали, комендант приказал капитенармусу выдать мне казенные сапоги и папаху и отправить меня на офицерский этап.

На этапе уже третий день томились, играя с утра до вечера в „тетку”, три офицера: два прапорщика сибирских стрелковых полков и призванный из запаса поручик, возвращавшийся в Орел, с 12-ю квартиерьерами 36-й пехотной дивизии. Я присоединился к их компании и должен был выучиться играть в „тетку” и в „девятый вал”, за которыми мы и коротали время.

Тroe суток провел я с ними на этапе, каждое утро отправляясь на станцию узнать, не пойдет ли какой нибудь поезд в сторону Иркутска. Но поезда не шли.

На четвертый день комендант, вызвав поручика, предложил ему принять прибывший из Харбина эшелон ссыльно-каторжных, предназначенный к немедленному отправлению в Иркутск. Эти каторжане сражались в дружине генерала Селиванова против японского десанта, высадившегося на острове Сахалине. Они были взяты япон-

цами в плен и высажены ими на русский берег близ Владивостока. За участие в обороне Сахалина каторжники были амнистированы и возвращались на родину. Из Владивостока их направили особым эшелоном через Харбин в Сызрань. На станции Манчжурия стачечный комитет отказался пропустить эшелон сахалинцев на Забайкальскую дорогу. Тогда бывшие каторжане предъявили железнодорожникам ультиматум: отправить их в течение 24 часов дальше. „В противном случае, — „заявили они, — „мы подожжем железнодорожный поселок”.

Угроза эта была далеко не шуточной, и стачечный комитет решил как можно скорее избавиться от беспокойных пассажиров, отправив их эшелон на Читу. Но, опасаясь возможного буйства каторжан, железнодорожники обратились к коменданту с просьбой назначить конвой для сопровождения эшелона.

В распоряжении коменданта не было свободных людей, но, вспомнив о застрявшем на этапе поручике, с которым ехали 12 солдат квартирьеров он решил назначить его начальником эшелона. Поручик обрадовался возможности вырваться из Манчжурии, а мы попросили его принять нас в состав конвоя.

Вечером мы уже сидели в предоставленном конвою вагоне 3-го класса, прицепленном к длинному составу теплушек, в которых находилось 800 амнистированных каторжников.

Наши случайные попутчики были преимущественно уголовными преступниками. Среди них находилось лишь несколько политических, сосланных на Сахалин за побеги из Якутской области. В начале мы немного побаивались порученных нашей охране пассажиров, но вскоре увидели, что всякие опасения излишни. Каторжане были очень дисциплинированы. Каждая теплушка имела своего старосту, который ежедневно являлся к начальнику эшелона за приказаниями и которому, в свою очередь, беспрекословно подчинялись избравшие его каторжане.

Пробыв долгие годы на каторге, они с понятным нетерпением стремились как можно скорее попасть домой. Железнодорожная забастовка, по их мнению, не имела к ним никакого касательства:

— Забастовки против господ делаются, а мы нешто господа? — говорили они.

Каждая задержка эшелона нервировала их. Если наш

поезд стоял на какой-нибудь станции более получаса, к начальнику эшелона тотчас же являлись старосты.

— Ваше благородие, обращались они к поручику: разрешите сходить к „забастовщикам“. Опять происходит задержка, надо, видать, поторопить их малость.

Поручик, которому тоже хотелось поскорее попасть домой, ничего не имел против такого поторопливания, и старосты шли разыскивать представителей стачечного комитета. Визиты эти кончались тем, что нам немедленно давали путевую и эшелон отправлялся дальше.

Так мы довольно скоро доехали до станции „Петровский завод“, где положение осложнилось. Железнодорожники категорически отказались пропустить наш эшелон. Их представители пытались вразумить каторжан, объясняя им, что пропуск поезда является срывом забастовки, и что своими требованиями каторжане идут против всего народа. Однако все эти рассуждения не действовали на каторжан. Они наставили на своем требовании и угрожали „пустить красного петуха“, если оно немедленно не будет исполнено. После долгих споров, уговоров и пререканий нам, наконец, подали паровоз. Каторжане успокоились, но не надолго. Машинист, не желая вести поезд, сбежал с паровоза. Эшелон снова заволновался и мы стали опасаться, что каторжники действительно подожгут станционные постройки.

Но в самую критическую минуту в наш вагон явился один из каторжников и попросил начальника эшелона разрешить ему сесть на паровоз:

— Я бывший машинист Сибирской дороги, всего лишь два года как сослан, и берусь довести поезд до следующего депо.

Хотя мы и рисковали разбиться на каком-нибудь уклоне, поручив поезд машинисту, не знакомому с профилем пути, но поручик решил, что исход этот менее опасен, чем оставление возбужденного эшелона на станции.

Сахалинец наш сел на паровоз, и весь перегон до Мысовой (более 100 верст) мы проехали со скоростью курьерского поезда, не останавливаясь ни на одной станции. По всей линии была передана предупредительная телеграмма и нас пропускали без задержек.

На станции Мысовой нам уже без всяких пререканий подали паровоз, и машинист, получивший распоряжение от стачечного комитета, повез нас вокруг Байкала.

Вскоре эшелон наш прибыл в Иркутск. Здесь мы узнали о прекращении забастовки и о манифесте 17-го октября.

В Иркутске нам представилась возможность покинуть сахалинский эшелон и следовать дальше пассажирским поездом. Но мы так ссыклись с нашей „артелью“, что решили ехать с каторжниками дальше, тем более, что все отходившие в Россию поезда брались с боем и попасть в них представлялось делом довольно трудным.

От Иркутска эшелон наш двигался гораздо медленнее, чем по Забайкальской дороге.

Вся линия была забита эшелонами с демобилизованными солдатами сибирских запасных батальонов и запасными старших сроков, возвращавшимися на родину. Эшелоны эти были настроены очень воинственно, не пропускали вперед ни пассажирских, ни санитарных поездов и угрожали железнодорожному персоналу при всякой попытке задержать их поезд.

Наш „каторжный“ эшелон оказался гораздо более спокойным и дисциплинированным, и железнодорожники, терроризованные запасными, удивлялись тому порядку, который царил в нашем поезде.

Не буду останавливаться на описании того разложения остатков манчжурской армии, которое мне пришлось наблюдать на пути от Иркутска до Самары. По Сибирской дороге двигался в Россию буйный поток солдатской массы, не признававшей никакого начальства, не терпевшей никаких возражений, привыкшей в Манчжурии грабить „китаев“ и продолжавшей теперь, по инерции, грабить своих русских лавочников.

Деморализация, начавшаяся в армии после мукденского поражения, достигла своего апогея. Злоба, накапливавшаяся месяцами, прорвалась наружу в самых уродливых формах. Не желая разбираться в том, кто является виновниками их 20-ти месячной страды, запасные выменивали свою злобу на каждом, кто являлся каким-либо начальством или носил „ясные погоны“.

Начальство, растерявшееся от этого неожиданного бунта столь покорных и послушных до того „землячков“, не умело и не могло успокоить разбушевавшуюся стихию. И потребовались карательные поезда Ренненкампфа и Меллер-Закомельского, чтобы остановить этот двигавшийся с востока бурный поток, угрожавший залить

Россию кровью и огнем пожаров.

В Сызрани поручик сдал свой эшелон этапному коменданту. Сахалинцы сердечно рас прощались с нами и одиночным порядком разъехались по разным направлениям.

У меня остались самые лучшие воспоминания о совместном путешествии с каторжанами, которые не только не принимали участия в происходивших на станциях бесчинствах, но, напротив, сами уговаривали и успокаивали буйствовавших запасных.

Расставшись со своими попутчиками, я пересел в скорый поезд и, 2-го декабря 1905 года, ровно через год после моего бегства из Пажеского корпуса, вернулся в Петербург.

25. ГЕНЕРАЛ ОТ ХИМИИ.

Несмотря на то, что я вернулся с войны старшим фейерверкером и был представлен к георгиевскому кресту, корпусное начальство встретило меня неприветливо. Только „Жамаис” и мой бывший воспитатель А. А. Бертельс отнеслись ко мне доброжелательно и с лаской. Директор корпуса — генерал Епанчин — когда я ему представился, сделал мне замечание за пятно на мундире и плохо вычищенные сапоги. Дисциплина не позволила мне ответить генералу, что эти мундир и сапоги я носил, не снимая, более года, на биваках, позициях, под дождем и снегом. Епанчин был очень недоволен, что я был принят обратно в Пажеский корпус. Своему возвращению в корпус я был обязан дедушке Шепелеву, который, тотчас после перемирия, обратился к Государю с просьбой о зачислении меня снова в „пажи Высочайшего Двора”. Главный начальник военно-учебных заведений — вел. кн. Константин Константинович — поддержал ходатайство заслуженного генерала, и Епанчин был поставлен перед совершившимся фактом.

Так как я все-же совершил дисциплинарный проступок, Епанчин арестовал меня на 30 суток „с исполнением служебных обязанностей”. Я присутствовал на всех занятиях, по окончании которых водворялся в карцер, к которому так привык, что когда срок моего ареста кончился, с сожалением расстался с этой уютной ка-

моркой.

Мои товарищи перешли в младший специальный класс, и я, отстав на один год от них, должен был пройти оставшийся курс 7-го класса.

Время до переходных экзаменов я посвятил сотрудничеству в „Пажеском сборнике” — ежемесячном литературном журнале, издававшемся пажами. Я поместил в нем ряд путевых очерков и описаний боевых эпизодов. Великий князь Константин Константинович, также сотрудничавший в „Пажеском сборнике”, отозвался с большой похвалой о моих произведениях и советовал мне продолжать занятия литературой. Ему я обязан тем, что полюбил литературу и вот уже более пятидесяти лет занимаюсь ею.

Весной я легко выдержал переходные экзамены и перешел в специальные классы. Война дала мне много знаний и опыта. Я практически ознакомился с артиллерией, тактикой, фортификацией и топографией, которые мои сверстники знали лишь теоретически. Поэтому прохождение программы явилось для меня легким занятием.

Не верно, что воспитанники Пажеского корпуса относились легкомысленно к наукам и увлекались лишь парадами, танцами, балетом и великосветскими удовольствиями, как до сих пор утверждают многие. Не надо забывать, что из рядов пажей вышли государственные и политические деятели, писатели и военачальники, оставившие по себе память в русской истории. Конечно и среди пажей были легкомысленные молодые люди, прожигавшие жизнь в великосветских удовольствиях. Но таких было очень немного. Да и в какой среде не было тогда такой „золотой молодежи”? Высокий процент пажей, окончивших высшие учебные заведения, свидетельствует о том, что еще в стенах корпуса они были увлечены желанием дальнейшего образования и усовершенствования в знаниях. Этим пажи обязаны выдающимся педагогам, с любовью относившимся как к преподаваемым ими предметам, так и своим ученикам, на которых они имели большое влияние.

Юноши, вернее — мальчики, очень чутко относились к личности преподавателя. Одни из них пользовались нашим уважением и любовью. К другим — мы относились насмешливо, быстро подмечая все их недостатки. Строгая дисциплина, царившая в Пажеском корпусе и

поддерживавшаяся не только начальниками и воспитателями, но и старшими товарищами, удерживала нас от необдуманных шалостей, но не останавливалась перед „изводом”, т. е. вышучиванием преподавателей, относившихся недостаточно серьезно к своим предметам и не умевших заинтересовать ими своих учеников. Мы разделяли наших военных и штатских преподавателей на две категории. К первой относились опытные педагоги, отлично знавшие все наши шалости, добродушно к ним относившиеся и никогда за них не мстившие. Ко второй принадлежали сухие бюрократы, придиравшиеся к самому пустяковому нарушению дисциплины. Этих преподавателей мы считали своим долгом „изводить”, а предметы их не любили и не старались учить. Среди преподавателей первой категории были такие, которых мы не только уважали, но и горячо любили, которых не хотели огорчать плохими успехами, но по отношению к которым позволяли себе иногда маленькие шалости.

Одним из преподавателей, пользовавшихся любовью и уважением пажей, был профессор артиллерийской академии — Владимир Николаевич Ипатьев. Он никогда по пустякам не придирился к своим ученикам, но и нам никогда в голову не приходила мысль „разыграть” молодого профессора. Ипатьев импонировал нам, как своей внешностью, так и системой преподавания той химии, которая считалась „сугубой наукой” и которую, по мнению некоторых пажей, признававших лишь науки, имеющие отношение к кавалерийскому делу, нужно было учить в перчатках.

Полковник Ипатьев отличался как от военных, так и от штатских наших преподавателей. Другие военные преподаватели были либо недостаточно солидны, напоминая „пижонов”, как мы называли подчеркнуто элегантных генштабистов, либо напротив — походили на переодетых в военную форму сугубо-штатских ученых.

Ипатьев выделялся из них настоящей военной выправкой, солидностью, полагавшейся его чину, одевался просто, но изящно. И, когда он своей быстрой и легкой походкой, позвякивая маленькими „Савельевскими” шпорами, проходил по ротному залу, пажи вытягивались („замирали”) и с восхищением провожали глазами „тонкого” полковника. И даже будущие кавалеристы, и те восхищались „генералом от химии”, как мы его прозва-

ли, ибо В. Н. Ипатьев не только признавал науку, но также и верховой спорт, и мы часто видели его галопирующим на вороном коне в нашем корпусном манеже. Наш инструктор верховой езды — ротмистр Ростовцев, не признававший ничего на свете, кроме лошадей и конного спорта и презирательно относившийся к генералам и офицерам всех родов оружия, кроме кавалерии, также одобрительно отзывался о полковнике Ипатьеве. А так как для наших будущих кавалеристов ротмистр Ростовцев был большим авторитетом, то понятно, что и они питали к „генералу от химии“ глубочайшее уважение.

Свой предмет В. Н. Ипатьев читал в специальной аудитории, находившейся в третьем этаже корпуса, рядом с гимнастическим залом. Еще задолго до назначенного часа мы собирались в этой аудитории и рассаживались по скамейкам, возвышавшимся амфитеатром над длинным столом, уставленным разными приборами, колбами и мензурками, ибо В. Н., сам ни на одну минуту на свои лекции не опаздывавший, не терпел опаздывавших слушателей.

На других лекциях мы часто позволяли себе некоторые вольности: сидели развались, рисовали и переговаривались с соседями. На лекциях В. Н. мы все подтягивались, и в аудитории царила мертвая тишина. И, если кто-нибудь из слушателей неосторожно нарушал эту тишину, обратившись шепотом к соседу, профессор восстанавливал порядок таким грозным окликом, что мы до конца лекции боялись шевельнуться. А между тем Ипатьев никогда никого не записал в журнал и не наложил дисциплинарного взыскания на своих слушателей.

Владимир Николаевич страдал одним недостатком: он был ужасно вспыльчив. Не во-время заданный вопрос, скрип скамьи или покашливание — приводили его в раздражение. Больше всех от вспыльчивости Ипатьева страдал его лаборант — Антон Иванович Полянский, маленький человечек в длинном сюртуке, приготовлявший для опытов разные колбы, пробирки и мензурки. Ипатьев так „рявкал“ на бедного Антона Ивановича, что у него начинали трястись руки, и приготовленная смесь разливалась по столу. А иногда, недовольный медлительностью лаборанта, В. Н. хватал попадавшуюся ему под руки колбу и швырял ее на пол. Антон Иванович всплескивал руками и бросался подбирать осколки, а

мы, не смея улыбнуться, молча слушали полковника, который тотчас же забывал о таком инциденте и с увлечением продолжал лекцию.

И мы хорошо знали химию, превратившуюся из „сугубой” в понятную нам и интересную науку.

Тогда мы еще не знали о трудах В. Н. Ипатьева, доставивших ему мировую известность. Когда, уже будучи офицером, я услышал о славе этого ученого, тоуважение, с которым я привык относиться к „генералу” Ипатьеву, сменилось чувством гордости. Я стал гордиться тем, что был учеником знаменитого профессора и учеником не плохим. Ибо В. Н. строго относился к познаниям своих учеников, а 11 баллов, которыми он по окончании курса оценил мои познания по химии, являлись высшей отметкой требовательного профессора.

26. КАМЕР-ПАЖ ИМПЕРАТРИЦЫ.

В конце сентября 1907 года я и четверо моих товарищей — граф Татищев, Апрелев, Макшеев и Шрамченко были произведены в старшие камер-пажи и назначены: Татищев — камер-пажем Государя, я и Макшеев — камер-пажами Императрицы Александры Феодоровны, а Апрелев и Шрамченко — камер-пажами вдовствующей Императрицы.

Обязанности камер-пажей состояли в „несении придворной службы” во время высочайших выходов, приемов иностранных коронованных особ и посланников. Мы должны были ознакомиться с придворным этикетом и другими, установленными при дворе правилами и обычаями. Искушенный в придворной службе адъютант корпуса — капитан Савурский — стал нас обучать этим тонкостям.

Когда мы ознакомились с ними, нас вызвали в швальню для примерки придворных мундиров. Придворная форма состояла из шитого золотом, длинного до колен мундира, рейтуз из белой лосиной кожи и высоких ботфортов с раstrubами и тяжелыми серебряными шпорами. В прорез с левой стороны мундира вставлялась шпага, на эфес которой вешалась тяжелая лакированная каска с плюмажем. С непривычки форма эта стесняла движения, а между тем, от нас — „придворных кавале-

ров" — требовалось легко и изящно поворачиваться и „порхать по паркету".

Капитан Савурский с большим терпением репетировал нас, заставляя кланяться по придворному и отходить, пятясь назад, а не поворачиваясь по-военному „налево кругом". В конце концов мы освоили эту премудрость и привыкли к новой форме.

В первых числах октября в приказе по корпусу было объявлено, что в Петергофском дворце Императрице Александре Федоровне будет представляться французский посол — адмирал Тушар — и что для несения придворной службы назначаются адъютант корпуса и камер-пажи Императрицы.

На следующий день, рано утром, началось наше „облачение" в придворную форму. Затем нас посадили в придворную карету, с кучером и гайдуком, одетыми в красные ливреи, и повезли на Балтийский вокзал, где нас ожидал экстренный поезд из двух вагонов первого класса. Один вагон был предназначен для посла и его свиты, второй — для нас.

Через полчаса мы приехали в Петергоф.

На станции Новый Петергоф, у подъезда „парадных комнат", стояло несколько придворных экипажей, среди которых выделялась громоздкая позолоченная карета для посланника, запряженная шестью белыми арабскими лошадьми и окруженная скороходами в золотых ливреях и шляпах с плюмажами из страусовых перьев. Посол должен был ехать во дворец шагом, так как иначе скороходы не могли поспеть за каретой.

К счастью наша карета не стала дожидаться посла, а проехала вперед, и мы быстро прибыли в большой Петергофский дворец.

В „камер-пажеских покоях" нам был предложен легкий завтрак от гофмаршальской части. На круглом столе стояла вазочка с икрой, блюдо холодной телятины, салат из дичи, графинчик водки и несколько бутылок вина. Воспитанникам военно-учебных заведений было запрещено употребление спиртных напитков. Но во дворце мы переставали быть воспитанниками и превращались в придворных кавалеров, которым разрешалось пить вино. Тем не менее, завтракавший с нами капитан Савурский зорко следил за тем, чтобы мы не злоупотребляли таким разрешением.

Вскоре нас позвали в вестибюль для встречи Императрицы. К нам подошел изящный и изысканно вежливый церемониймейстер граф Гендриков, считавшийся самым опытным руководителем придворных церемоний. Капитан Савурский представил нас Гендрикову, который любезно с нами поздоровался и спросил — не боимся ли мы предстоящего испытания?

— Прежде всего — держите себя просто и непринужденно. Забудьте вашу военщина и будьте светскими кавалерами. Представьте себе, что вы приехали на бал в хорошо знакомый вам дом. Вы увидите, как все это легко и просто, — поучал нас любезный граф.

Но Гендрикову, исполнявшему обязанности церемониймейстера с начала царствования Императора Николая 2-го, привыкшему к этикету и бывшему здесь „дома”, было легко так говорить. Мы же волновались и чувствовали себя очень неловко.

К подъезду бесшумно подкатила карета, из которой вышла одетая в манто и довольно скромное сиреневое платье Императрица Александра Федоровна. До сих пор я всего лишь один раз видел Александру Федоровну, когда она, вместе с Государем, приезжала к нам в корпус. Но тогда я находился далеко от нее, обращая больше внимание на разговаривавшего с пажами Государя. Теперь я стоял лицом к лицу с приближившейся Государыней.

Императрица кивнула головой Савурскому, как старому знакомому, и протянула ему руку, которую он, почтительно склонившись, поцеловал. Затем Александра Федоровна подошла ко мне.

Савурский назвал мою фамилию, и я смущенно проговорил, что имею счастье быть назначенным камер-пажем ее величества. Государыня улыбнулась и подала мне руку. Я должен был скинуть перчатку, склониться и поцеловать протянутую мне руку. А перчатка, как на зло, не снималась! Я рванул ее и, задержавшись на несколько секунд, все же успел принять руку Императрицы.

С Макшеевым произошла та же неприятность, но Александра Федоровна, сдерживая улыбку, так медленно протянула ему руку, что он успел справиться с перчаткой.

Сопровождаемая графом Гендриковым, Императрица прошла в гостиную, куда должен был быть введен

французский посол. Мы встали около дверей. Внизу раздались слова команды, и почетный караул отдал честь подъехавшему посольству.

Граф Гендриков встретил посла на лестнице и повел его в гостиную, где, стоя около камина, поджидала его Государыня.

Я заметил, что Александра Федоровна волновалась. Лицо ее покрылось красными пятнами, и она нервно теребила жемчужную нитку. Впоследствии я неоднократно наблюдал, как Александра Федоровна волновалась на официальных приемах и аудиенциях. Видно было, что она не любит такие церемонии, стесняется вступать в разговоры с незнакомыми людьми и старается как можно скорее от них отделаться.

Французский дипломат, отвесив глубокий поклон, обратился с приветственной речью к Александре Федоровне, которая с деланной улыбкой протянула ему руку. Посол быстро проговорил приветствие и почтительно склонился, ожидая ответа и вопросов Императрицы. Александра Федоровна, спросив адмирала, какое впечатление произвел на него Петербург, быстро закончила аудиенцию, подав ему снова руку. Тушар понял, что аудиенция закончена, поцеловал руку Императрицы и отступил к дверям. Отвесив в дверях низкий поклон, он повернулся и, сопровождаемый Гендриковым, спустился к своей парадной карете, которая снова потащила его шагом на вокзал.

Александра Федоровна с довольной улыбкой отошла от камина и, обратившись к нам, еще раз спросила наши фамилии, желая их запомнить. Затем, пожелав нам успехов в занятиях, она опять подала нам руку и, никем не провожаемая, быстро спустилась по другой лестнице к ожидающей ее карете.

Наша первая придворная служба была окончена. Короткий разговор с Императрицей не произвел на нас глубокого впечатления. Мы чувствовали, что, разговаривая с нами, Александра Федоровна очень мало интересуется своими камер-пажами, а все ее вопросы являются заученными фразами. Говоря с нами по-русски, она старалась четко и без акцента выговаривать отдельные слова, почему речь ее звучала как-то сухо и деревянно. Признаюсь, что я был разочарован. Я иначе представлял себе представление Императрице и разговор с ней. И это

впечатление осталось у меня до самого конца моей придворной службы, хотя через некоторое время, привыкнув видеть нас почти каждую неделю, Александра Федоровна стала обращаться с нами проще и естественнее.

Через две недели мы присутствовали на приеме австро-венгерского посла графа Бертхольда.

На этот раз аудиенция происходила в малом царско-сельском дворце, в котором постоянно проживала царская семья.

Дворец этот был очень невелик и напоминал деревенский помещичий двухэтажный дом. В нижнем этаже находился зал, в котором стояла устроенная для игр маленького Наследника горка. С одной стороны к залу примыкала библиотека и кабинет Государя, в котором он не занимался, а только принимал представлявшихся ему министров и сановников. С другой стороны — будуар и гостиная Императрицы. Жилые комнаты и рабочий кабинет государя находились в другой половине, отделенной от первой коридором, в котором стояли разные сундуки и шкафы. В верхнем этаже находились комнаты великих княжн, их воспитательниц и прислуг.

Камер-пажеских покоев в малом дворце не было и, в ожидании аудиенций и приемов, мы или бродили по коридору, или нас отправляли наверх, в классную комнату великих княжн.

Почти каждую неделю мы бывали в Царском Селе, присутствуя на приемах посланников или „городских дам” (жен сановников и придворных чинов). Если придворная служба назначалась на утренние часы, то нас, по окончании ее, кормили завтраком, который подавался в той же классной комнате. Если приемы происходили вечером, мы там же обедали. И завтраки и обеды, которые подавались с царской кухни, были очень скромны и состояли из закусок, трех блюд и десерта. К закуске подавался графинчик водки, а к обеду — красное и белое вино.

Жизнь царской семьи в малом Царскосельском дворце была очень простой, однообразной и замкнутой. Государыня не любила и избегала всякие официальные торжества, парады и церемонии. Не любила она их от того, что стеснялась говорить с малознакомыми людьми и не умела поддерживать великосветской болтовни. А бояться таких церемоний — у нее были основания.

Достаточно вспомнить злополучный крещенский парад 1905 года, когда 1-я батарея гвардейской конной артиллерии во время салюта выстрелила по Зимнему дворцу картечью.

К счастью этот салют не вызвал жертв. Но картечные пули разбили несколько окон и повредили штукатурку на фасаде дворца. Одна из пуль разбила верхнее стекло того окна, из которого Императрица наблюдала за церемонией. Хотя Александра Федоровна сохранила наружно полное спокойствие, но сильно переволновалась за Государя, отнесшегося совершенно спокойно к этому эпизоду.

До сих пор нельзя с уверенностью сказать, был ли салют гвардейской артиллерии покушением на жизнь царя или простой небрежностью. По официальной версии — одно из орудий батареи оказалось заряженным картечью, которая осталась в дуле после учебной стрельбы. Произведенное дознание не могло установить злого умысла. Во всяком случае, никто из офицеров и солдат не подвергся суровым караам. Командующий батареей — капитан Давыдов — и командир взвода поручик Рот были переведены из гвардии в армию за небрежное отношение к своим обязанностям, и этим ограничились наложенные на провинившуюся батарею взыскания.

27. ОТМОРОЖЕННЫЕ УШИ.

В день св. Спиридония, 25-го декабря по новому, или 12-го декабря по старому стилю,правлялся праздник Пажеского корпуса. Накануне этого дня в корпусе служилась торжественная всенощная, на которую съезжались все старые пажи. А в день праздника — Государь производил в Царском Селе смотр Пажескому корпусу и л.-гв. Финляндскому полку, праздник которого также приходился на день св. Спиридония.

Незадолго до праздника я был назначен знаменщиком корпуса и гордился тем, что на щарском смотре и по улицам Петербурга буду ити со знаменем, впереди всех моих товарищей. Поэтому я тщательно подготовлялся к своему дебюту. Известный сапожник Виноградов принес мне, заказанные для этого случая, красивые сапоги, которые можно было натянуть только на тонкие

нитяные носки. А из имевшихся у меня в запасе замшевых перчаток я отобрал самую лучшую, ни разу не одеванную пару.

В день праздника ударили сильный мороз. Термометр показывал 20 градусов по Реомюру. Корпусное начальство приказало выдать всем участвовавшим на параде пажам смазанные жиром сапоги, башлыки и теплые шерстяные рукавицы. Но нести знамя впереди батальона с завязанной башлыком физиономией, в казенных смазных сапогах и неуклюжих варежках — казалось мне кощунством. Поэтому я надел свои новые тесные сапоги и оставил в роте башлык и рукавицы. Предшествуемый корпусным адъютантом, я вынес знамя из квартиры директора в белоснежных замшевых перчатках. Оркестр военно-учебных заведений грязнул марш „под двуглавым орлом“, и батальон пажей стройными рядами двинулся по Садовой, направляясь к Царскосельскому вокзалу.

Я гордо шел впереди, имея по сторонам двух ассистентов. Встречавшиеся военные становились во фронт, а штатские — снимали шапки. Я чувствовал себя на седьмом небе от счастья и гордости, забывая, что почести эти отдаются не мне, а тому знамени, которое я нес на плече и заледеневшее полотнище которого больно хлестало меня по лицу. А мороз сразу стал щипать мне уши, руки, обтянутые замшевыми перчатками и ноги, обутые в тесные сапоги. Однако до вокзала я дошел благополучно. Свободной рукой я все время растирал уши, а ноги согревал, стараясь как можно сильнее ударять подошвами по покрытой снегом мостовой.

В вагоне я совсем согрелся, но пожалел, что не догадался спрятать в карман шинели теплые казенные рукавицы. Ведь в Царском Селе дорога с вокзала в манеж шла парком, в котором публики при таком морозе быть не могло. И никто не заметил бы, что знаменщик Пажеского корпуса несет знамя не в белых замшевых перчатках, а в черных рукавицах.

От Царскосельского вокзала до манежа было около двух верст. Не успели мы пройти и полу-версты, как уши мои обратились в ледяшки. Напрасно старался я оттirать их свободной рукой: пальцы руки онемели. А ног я совсем уже не чувствовал. Но вот, в конце концов, из-за деревьев парка показалась улица, казармы гусарского полка и манеж. Не помню, как я дошел до манежа и спу-

стил с плеч тяжелое знамя. В манеже было тепло.

Передав знамя ассистенту, я стал согревать окоченевшие руки и ноги, похлопывая в ладоши и отплясывая какой-то дикий танец. А уши мои горели и пухли. Я не успел их освидетельствовать, как раздалась команда „смирно”. Начало прибывать начальство, обходившее строй пажей и финляндцев, здоровавшееся с ними и поздравлявшее с праздником. А еще через несколько минут часовые в царской ложе взяли шашки „на караул”: в ложе появилась Императрица с великими княжнами, а в распахнувшихся воротах манежа — Государь со свитой.

Раздалась команда „слушай на кра-ул”! Повернувшись, как это полагалось, в пол-оборота направо, я начал медленно склонять знамя для салюта. Все свое внимание я обратил на то, чтобы как можно ловче и красивее отсалютовать знаменем. Поэтому я не заметил, как ко мне подошел Государь. И тут произошел инцидент, нарушивший установленный с незапамятных времен церемониал парадов.

Обычно Государь, отдав честь знамени, проходил мимо него и начинал обходить строй. Но на этот раз, взглянув на меня, Царь остановился:

— Что с тобой? Да ведь у тебя отморожены уши!
Смените знаменщика, — обратился он к директору корпуса, — и немедленно отправьте его в лазарет!

Мне так хотелось пронести знамя на церемониальном марше впереди корпуса. К этому торжественному моменту я готовился уже целый месяц. И вдруг — знамя понесет другой! Слезы обиды выступили у меня на глазах. Заметив мое отчаяние, Государь ласково проговорил:

— Иди в лазарет! Если ты останешься в строю до конца парада, уши у тебя совсем отвалятся

И мне пришлось подчиниться этому приказу. Я передал знамя ассистенту, а великий князь Константин Константинович (главный начальник военно-учебных заведений) взял меня под руку и передал фельдшеру.

В гусарском лазарете я действительно увидел в зеркало, что уши мои превратились в два огромных лопуха. Доктор смазал их жиром, забинтовал, и фельдшер отвез меня в придворном автомобиле на вокзал. У меня оказались отмороженными не только уши, но и пальцы обеих рук и ног. Конечно, я не мог поэтому принять уча-

стие на балу, считавшимся одним из самых блестящих в сезоне. В то время, как мои товарищи встречали гостей, ухаживали за знакомыми барышнями и веселились, я, весь обмотанный бинтами и смазанный гусиным жиром, лежал на лазаретной койке и дико скучал в одиночестве. Ибо все находившиеся в лазарете и спасавшиеся в нем от несданных репетиций пажи — ко дню праздника чудесно выздоравливали и выписывались.

Изнывая от скуки в лазарете, я не мог предполагать, что происшедшая со мной на параде неприятность через несколько дней превратится в огромную радость, которая навсегда останется у меня в памяти, как счастливейшее событие в моей жизни. Что-же произошло в этот знаменательный для меня день, и почему мои отмороженные уши явились косвенной причиной этого радостного события?

За отличие в бою под Талимпао 30-го июля 1905 года я был представлен к георгиевскому кресту. Представление пошло по разным инстанциям. Но так как, вскоре после заключения перемирия, я был откомандирован в Пажеский корпус, оно где-то затерялось. Только через два года, когда я уже потерял всякую надежду получить заветный серебряный крестик, о котором так мечтал, мое представление было переслано главному начальнику военно-учебных заведений. Великий князь Константин Константинович должен был доложить его Государю, так как после расформирования штабов армий только царь мог награждать солдат этим высшим боевым отличием. Очередной доклад великого князя был назначен на следующий день после нашего корпусного праздника. Но по окончании парада, Государь, беседуя с Константином Константиновичем, вспомнил о моих отмороженных ушах. Великий князь вспользовался случаем и доложил царю, что я представлен к „Знаку отличия Военного ордена“. И Государь приказал ему поздравить меня георгиевским кавалером.

Ничего не подозревая, я три дня проскучал в лазарете. Вечером на третий день в лазарет пришел дежурный офицер — поручик Костыгов.

— Оденьте виц-мундир и подымитесь в Белый зал. Там находится великий князь, который хочет вас видеть!

Недоумевая, чем вызвано такое желание великого князя, я сменил лазаретный халат на виц-мундир и, под-

держиваемый Костыговым, с трудом поднялся наверх. Подойдя к открытым настежь дверям Белого зала, я с удивлением увидел в нем выстроившуюся в походной форме роту специальных классов. Перед строем расхаживал великий князь Константин Константинович с директором корпуса — генералом Шильдером.

— Здравствуй, чучело гороховое! — весело крикнул, увидя меня, великий князь.

С физиономией, смазанной гусиным жиром и забинтованными ушами — я действительно походил на огородное пугало.

Великий князь поставил меня рядом с собой, вынул из кармана приказ и, скомандовав роте „слушай на — краул”, стал читать:

— Государь Император, 12-го сего декабря, пожаловал фейерверкеру 16-ой артиллерийской бригады, ныне воспитаннику Пажеского Е. И. В. корпуса, камер-пажу Вороновичу, за мужество и храбрость, оказанные им в деле 30-го июля 1905 года, под Талимпао, Знак отличия Военного ордена 4-й степени”.

Закончив чтение приказа, Константин Константинович вынул из синего пакетика серебряный крест на черно-оранжевой ленточке и продел его в петлицу моего виц-мундира.

— Новому георгиевскому кавалеру — ура! — обратился он к роте.

Громовым ура приветствовали меня товарищи. Великий князь обнял меня и троекратно поцеловал. А я стоял, как соляной столб, ошеломленный всем происшедшем. Постепенно буйная радость овладела мною. Я забыл свои отмороженные уши, ноющие руки и ноги и понимал лишь одно: что моя заветная мечта, ради которой я бежал из корпуса, отстал на один год от товарищей и просидел месяц в карцере — превратилась в действительность...

28. ЦАРСКОЕ СЕЛО.

В начале 1908 года состоялась свадьба великой княжны Марии Павловны с шведским принцем Вильямом, герцогом Зюдерманландским.

К этому торжеству съехались со всех концов Европы коронованные особы и родственники императорской фа-

милии. В политической жизни Европы, как и в самой России, наступило некоторое успокоение. Ничто не предвещало разыгравшихся через год событий на Балканах. А в России, уставшей от революционных вспышек 1905 — 6 г.г., также царил мир и покой. Так, по крайней мере, казалось нам, молодым людям, плохо разбиравшимся в „большой политике“.

В Царском Селе наступило оживление. Екатерининский дворец, ставший на некоторое время центром придворной и политической жизни, приготовлялся к встрече многочисленных гостей, к приемам, балам и парадным обедам. Камер-пажи почти ежедневно вызывались в Царское для участия в различных церемониях.

Малый (Александровский) дворец с его скромной обстановкой, отошел на задний план и совсем стушевался перед затмившим его роскошью Екатерининским. К подъезду этого дворца с раннего утра до поздней ночи подкатаивали автомобили и придворные экипажи. В оживших залах, гостиных и вестибюлях появились после долгого перерыва офицеры гвардейских полков и давно уже неприглашавшиеся ко двору „городские дамы“ и придворные кавалеры. Кроме постоянных наружных караулов от гвардейских стрелков, на парадной лестнице и в залах дворца были выставлены парные часовые внутреннего караула от гусар и кирасир.

Серия приемов, обедов и балов открылась парадным обедом в честь шведского короля Густава.

Обед этот состоялся в очень торжественной обстановке и явился самым крупным событием, отмеченным за последние годы в „гоф-курьерском журнале“ (придворной хронике).

В большом двухсветном зале Екатерининского дворца был накрыт покоем огромный стол на 200 человек. Присутствовала вся императорская фамилия, иностранные принцы и принцессы, дипломатический корпус и все русские высшие сановники. Против Государя, рядом с министром двора бароном Фредериксом, сидел председатель совета министров П. А. Столыпин.

Мы, камер-пажи, стояли за стульями государя и государьши. Поэтому я мог наблюдать за Столыпиным, который вел себя очень непринужденно, откидываясь к спинке своего стула и небрежно поддерживая разговор с шокированным таким поведением премьера бароном

Фредериксом. Бросалось в глаза, что своим обращением с присутствовавшими на обеде иностранцами Столыпин хотел подчеркнуть разницу между положением первого министра Российской империи и сановниками таких государств, как Австро-Венгрия, Швеция и Румыния. С английским и французским посланниками Столыпин держался, как равный, а с немецкими, румынскими и греческими принцами говорил свысока, как с „бедными родственниками”.

Во время дессерта король Густав поднял свой бокал и повернулся в сторону Столыпина, желая показать, что пьет за его здоровье.

Столыпин сделал вид, что не заметил жеста шведского короля и, нагнувшись к барону Фредериксу, стал ему что то оживленно рассказывать. И только, когда один из церемониймейстеров подошел к русскому премьеру и обратил его внимание на шведского короля, продолжавшего с поднятым бокалом смотреть на Столыпина, последний повернулся к королю Густаву и также поднял свой бокал.

По окончании обеда общество перешло в соседнюю гостиную, в которой состоялся „сэркль”: государь, государыня и шведский король остановились по середине комнаты и вокруг них полукругом собирались принцы, дипломаты и сановники.

Во время этого „сэркля” со мной случилось трагикомическое приключение. Я стоял в трех шагах за императрицей. Государь, стоявший напротив, искал кого-то глазами и повидимому не мог найти. Обернувшись в мою сторону, он подозвал меня и приказал разыскать и привлечь к нему ministra двора. Соблюдая правила этикета, я, не поворачиваясь, сделал несколько шагов назад. Понятно, что я не мог видеть, что делается за моей спиной и, делая второй шаг, почувствовал, что зацепил за что-то шпорой. Сделав еще один шаг, я запутался и второй шпорой. Пытаясь освободить мои шпоры, я поскользнулся на паркете, потерял равновесие и упал на левый бок, раздавив при этом каску, которая с треском лопнула, как спелый арбуз. Произошло замешательство. Я быстро вскочил на ноги и увидел обращенные на меня взгляды присутствовавших.

Государь обернулся в мою сторону и озабоченно спросил:

— Ты не ушибся?

— Никак нет, ваше императорское величество, отвечал я, ободренный ласковым взглядом Царя.

— *C'est un page, qui vient d'embrasser la terre,** сказал улыбаясь государь стоявшему рядом с ним французскому посланнику.

Александра Федоровна также обернулась, равнодушно взглянула на меня и ничего не спросив, продолжала разговор с королем Густавом.

Оказалось, что сзади меня проходила какая то фрейлина с пышным шлейфом. Вот в этом шлейфе и запутались мои шпоры, а фрейлина, пытавшаяся спасти свой шлейф, потянула его в сторону и вместе с ним и мою ногу.

Я отделался только минутным смущением, но фрейлина должна была уехать из дворца, так как мои тяжелые шпоры распороли не только ее шлейф, но и дорогое бальное платье.

Вскоре после описанного обеда состоялось бракосочетание великой княжны Марии Павловны с герцогом Зюдерманландским.

Мария Павловна и брат ее Димитрий Павлович были детьми великого князя Павла Александровича, дяди Государя. Овдовев несколько лет перед этим, он, вопреки запрещению царя, женился вторично на баронессе Пистелькорс. После этой „скандальной“ для двора женитьбы, Павлу Александровичу было предложено выехать заграницу. Известный своими стихотворениями на политические и придворные злобы дня гусар Мятлев написал по этому случаю имевшие большой успех в великосветских салонах стихи, начинавшиеся так:

„Царь наш добр, но строгих правил,
Он не на шутку рассердился,
Когда без спросу дядя Павел
На чужой жене женился...“

Оставшиеся без родителей Димитрий Павлович и Мария Павловна, которым в то время было 17 и 15 лет, были взяты в дом великой княгини Елисаветы Федоровны, сестры Александры Федоровны и жены московского генерал-губернатора вел. князя Сергея Александровича. После убийства Сергея Александровича вдова его уда-

* „Один из пажей поцеловался с землей“!

лилась в монастырь, и дети Павла Александровича перешли под опеку императрицы Александры Федоровны.

Государыня вскоре сильно привязалась к „сироткам“ и полюбила их. Относясь к ним, как к собственным детям, государыня была особенно огорчена и потрясена, когда ее любимец Дмитрий оказался одним из убийц Распутина. Этого преступления она ему никогда не могла простить.

Великую княжну Марию Павловну мы часто видели во дворце. Она нам очень нравилась. Мы даже были немного влюблены в нее и ревновали к тем придворным кавалерам, с которыми она разговаривала более оживленно, чем это полагалось по этикету. Ее жених — герцог Зюдерманландский — долговязый и некрасивый, совсем не подходил к хорошенькой великой княжне. Мы его возненавидели, и за то, что он осмелился сделать предложение Марии Павловне, и за то, что, после свадьбы, он увезет ее от нас в Швецию.

Поэтому сердца наши обливались кровью, когда нам пришлось присутствовать на церемонии их бракосочетания.

На этой церемонии снова присутствовала вся императорская фамилия, вдовствующая императрица Мария Федоровна, которую я тогда впервые увидел в Царском Селе, иностранные принцы и министры, во главе с П. А. Столыпиным.

Мы видели, что Мария Павловна совсем не любит своего жениха и что свадьба эта является политической сделкой. Мы были уверены в этом, ибо незадолго до брачной церемонии присутствовали также при благословении невесты посаженной матерью — императрицей Александрой Федоровной. Крепившаяся до тех пор Мария Павловна, стоя на коленях перед императрицей, горько разрыдалась, нарушив этикет и торжественность церемонии. Мы были так взволнованы этой сценой, что сами едва сдерживали подступавшие слезы.

Из церкви молодые перешли в одну из гостиных, где состоялось вторичное венчание по лютеранскому обряду. Когда, по окончании церковных обрядов, молодые принимали поздравления родных и гостей, Мария Павловна с трудом сдерживала себя, чтобы снова не разрыдаться. И стоявшая рядом с ней Александра Федоровна, считавшая этот брак желательным и целесообразным, все вре-

мя нашептывала ей какие-то наставления.

Все присутствовавшие на бракосочетании были приглашены к семи часам вечера на парадный обед в честь молодых. Обед этот состоялся в обстановке еще более торжественной, чем обед в честь короля Густава. Впервые после 1904 года, когда, по случаю войны с Японией и наступивших после этой войны тревожных времен, были отменены все придворные балы и другие торжества, русский императорский двор принимал иностранных гостей со всей пышностью и роскошью своего церемониала и старинных обычаев. Видно было, какое впечатление производила эта роскошь на иностранных принцев и дипломатов, привыкших к скромной и даже бедной, по сравнению с русской, обстановке других европейских дворов.

После свадьбы вел. княжны Марии Павловны при дворе наступило затишье. Целый месяц нас не вызывали на придворную службу. Наследник был снова болен и государыня не отходила от постели больного, не появляясь на приемах и аудиенциях.

На пасхальные каникулы мне не разрешили ехать к родным. Я должен был присутствовать в Царском Селе на заутрене и приеме дипломатического корпуса.

Пасхальное богослужение происходило в церкви Екатерининского дворца, и на нем, кроме Государя, Государевы и маленьких великих князей, присутствовали лишь самые приближенные лица государевой свиты.

По окончании заутрени Александра Федоровна поздравила нас с праздником и подарила каждому из нас по художественно расписанному фарфоровому яйцу с ее вензелем. Государь похристосовался с нами и также подарил по писанке со своим вензелем.

Пасхальный прием дипломатического корпуса ничем не отличался от новогоднего и прошел также официально и скучно. Но после него мы были свидетелями более интересного и редкого события — христосования Государя с вахмистрами и фельдфебелями военных училищ и гвардейских полков. Каждого из них он поздравил с праздником, одарил фарфоровой писанкой и троекратно облобызкал. Солдаты подходили к царю с благоговением, но без всякого страха. Некоторые из них, получив от государя писанку, в свою очередь подносили ему простое красное яичко, которое государь принимал

с улыбкой и передавал своему камер-пажу.

Первый большой весенний прием состоялся 23-го апреля, в день именин императрицы. День начался торжественным богослужением, на которое явились все великие князья и княгини, министры, чины двора и генералитет. Мы по обыкновению встретили государыню на подъезде и поздравили ее с днем ангела. Выходя из церкви по окончании обедни, Александра Федоровна передала мне на хранение кружевную накидку и большую просфору, поднесенную ей митрополитом. Накидку я вручил Макшееву, а просфору оставил у себя.

После церковной службы состоялся фамильный завтрак, на который были приглашены только члены императорской фамилии. Мы ожидали в соседней гостиной конца завтрака, чтобы проводить государя и государыню до их автомобиля. Нам должны были подать завтрак после отъезда царской четы. Мне ужасно хотелось есть, а просфора так вкусно пахла. Я долго боролся с искущением, но под конец не выдержал и отломил от нее маленький кусочек. За одним куском последовал второй и вскоре просфора была съедена до последней крошки. Я надеялся на то, что государыня не вспомнит о митрополичьей просфоре, тем более, что у нее была вторая, поднесенная ей духовником, протопресвитером Янышевым. Но, когда я помог Александре Федоровне сесть в автомобиль и подал ей кружевную накидку, она спросила меня, где ее просфора?

Я сделал вид, что забыл просфору во дворце и бросился обратно к парадной лестнице. Но государыня остановила меня и приказала шоферу ехать.

У меня скатилась гора с плеч.

Это была моя последняя придворная служба. Царская семья вскоре переехала на яхту „Штандарт“ и до середины июня проплавала в финляндских шхерах.

Восемь месяцев я состоял камер-пажем императрицы Александры Федоровны. За это время я мог наблюдать жизнь царской семьи не только в официальной, парадной обстановке, но и такой, какою видели ее только немногие, приближенные люди. Я видел также при дворе многих коронованных особ, всех русских великих князей и княгинь, дипломатов, русских и иностранных государственных деятелей. Но никто из них, кроме шведского короля Густава и П. А. Столыпина, не произвел на меня

сильного впечатления, почему все они исчезли из моей памяти.

Что же касается императрицы Александры Федоровны, с которой я за эти восемь месяцев встречался очень часто, то о ней я сохранил воспоминание, как об очень умной, но неприветливой и несчастной женщине.

Редкой матери и жене пришлось пережить столько горя, страданий и мучений, как последней русской императрице. Трагедия этой безусловно умной и образованной женщины была ее безумная любовь к мужу и сыну. Из-за этой любви она, быть может, совершила роковые ошибки, вмешиваясь в политическую жизнь государства, как в свою личную, и ставя интересы своей семейной жизни выше интересов государства.

Та же любовь заставляла ее постоянно дрожать за жизнь мужа и сына. Этот последний страх внушал ей отвращение ко всяkim церемониям и официальным торжествам.

Она относилась с подозрением и недружелюбием ко всем, кто отнимал от нее, хотя бы на несколько минут, государя, на которого она хотела влиять только сама. Отходя с каждым годом все дальше от своих родственников, от двора и видных государственных деятелей, Александра Федоровна окружила себя и мужа только немногими, казавшимися ей верными и преданными людьми. Веря в искренность, честность и преданность этих людей, она оттолкнула от себя других, гораздо более преданных родине и престолу.

Вот почему каждый, кто впервые встречался с Александрой Федоровной, сохранил воспоминание о ее холодности и неприветливости.

29. ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ ВТОРОЙ.

Император Николай Второй войдет в историю, как монарх, все царствование которого, начиная с Ходынки и кончая февралем 1917 года, протекало под знаком неудач и несчастий. Пережитая им трагедия последних двух лет его жизни и мученическая кончина — должны примирить с последним русским царем всех недружелюбно к нему относившихся и осуждавших его ошибки, вольные и невольные прегрешения.

В течение семи лет, с 1907 по 1914 г.г., я часто встречался с покойным Государем и имел возможность наблюдать его, как в официальной, так и в более интимной, домашней обстановке. Не мне, бывшему в то время юным пажем и рядовым гвардейским офицером, судить о государственных способностях и недостатках этого монарха. Но мои описания дореволюционного русского быта будут неполными, если я в них не коснусь личности императора Николая Второго и не поделюсь с читателями воспоминаниями о покойном царе.

Впервые я близко увидел Николая Второго в 1903-м году, во время посещения государем Пажеского корпуса. Я и мои товарищи привыкли считать царя стоящим на недосягаемой высоте. Мы видели в нем всемогущего, но доброго, справедливого и милостивого повелителя, могущего одним словом осчастливить, возвысить, но также и послать на смерть каждого из нас. Личность государя была для нас овеяна своеобразным ореолом. Мы благоговели перед ним и с радостью, не задумываясь, пошли бы умирать, если бы он потребовал этого. Первая встреча с царем укрепила во мне эти чувства. Недаром все, любившие и ненавидевшие Николая Второго, соглашались с тем, что он своим обхождением и приветливостью — очаровывал каждого, кто впервые с ним встречался. И чем чаще я встречался с государем во время придворной службы, будучи камер-пажем императрицы, а затем в офицерском собрании, на смотрах и дворцовых приемах, когда был гвардейским офицером, тем больше он очаровывал меня и как-то невольно привлекал к себе. И привлекал он меня не как император, всемогущество которого очень скоро перестало мне импонировать, а как внушавший непреодолимую симпатию человек.

Став камер-пажем императрицы Александры Федоровны, я каждую неделю встречался с государем. Невольная робость, которую я вначале испытывал при обращении ко мне царя, вскоре исчезла. Я, как и другие камер-пажи, любил, когда государь обращался ко мне с вопросами или отдавал какое-нибудь приказание, которое торопился исполнить как можно отчетливее, чтобы заслужить благодарность, выражавшуюся его очаровательной улыбкой. Не буду возвращаться к уже описанным мною случаям, характеризующим заботливость государя к окружавшим его чинам свиты и низшим придвор-

ным служащим. Предоставив опытным старым придворным строгое соблюдение этикета, Николай Александрович сам не любил и тяготился этими придворными традициями. В малом, Александровском, дворце, освободившись от приема дипломатов, докладов министров и других государственных дел, он превращался в патриархального помешника и семьянина. Сколько раз, когда перед приемами „городских дам” камер-пажи императрицы ожидали в коридоре вызова в будуар Александры Федоровны, мы видели государя в малиновой рубашке императорских стрелков быстро пробегавшего по коридору в комнаты великих княжен, или выходившего с деревянной лопатой расчищать от снега дорожки парка. Проходя мимо нас, он всегда останавливался, расспрашивал о наших успехах, о том, в какие полки мы собираемся выйти после производства в офицеры. Иногда он со смехом вспоминал какой нибудь комический эпизод, произшедший на одном из приемов, как, например, при представлении Императрице супруги китайского посла. Обращаясь ко мне, он часто вспоминал мои отмороженные на параде уши и вызвавший смущение придворных случай при приеме шведского короля, когда я запутался шпорами в шлейфе проходившей сзади меня фрейлины. Как могли мы, девятнадцатилетние юноши, почти мальчики, не бояться государя, не упуская случая обласкать нас и так внимательно относившегося к нашим мальеньким заботам?

Вскоре мы заметили другую характерную особенность государя: его застенчивость, обнаруживавшуюся при разговорах с незнакомыми людьми, с которыми он впервые встречался. Застенчивость эта переходила иногда в растерянность и какую-то неловкость, из которой государь выходил с большим трудом. Застенчивость эта вредила популярности царя среди солдат, которых он очень любил, но с которыми не умел говорить. Я неоднократно имел возможность наблюдать, как государь беспокоился о промокших во время маневров солдатах, спрашивая — будет ли им во время выдана горячая пища и приготовлен ночлег. Но, когда ему приходилось говорить с солдатами, он ограничивался трафаретными вопросами о семейном положении, о названии родной деревни и о сроке службы. А между тем какой популярностью мог бы пользоваться государь среди солдат, если

бы умел подойти к ним. Ибо его доброта и простота быстро примечалась теми нижними чинами, с которыми он часто встречался и которых знал по фамилиям. Таковыми были казаки его конвоя и солдаты охранявшего дворец „Собственного Его Величества пехотного полка”.

То же самое можно сказать и об обращении покойного государя с офицерами тех частей, жизнь которых он плохо знал. Приезжая в собрание Преображенского или Гусарского полка, государь чувствовал себя в привычной обстановке и переносился к тем, сравнительно недавним, временам, когда исполнял обязанности младшего офицера, ротного или эскадронного командира. А так как был гвардейских полков мало отличался один от другого, то, встречаясь с гвардейскими офицерами на парадах, в собраниях или во дворце, государь непринужденно с ними беседовал. Но стоило ему встретиться с офицерами армии, как он терялся, конфузился и не знал, о чем с ними говорить. Происходило это не потому, что он относился к ним иначе, чем к гвардейцам. Николай Александрович просто боялся неосторожным вопросом обидеть или задеть самолюбие такого офицера. В этих случаях государя выручала его феноменальная память. Он твердо знал историю всех полков русской армии, их командиров и места стоянок. Окинув взором представившегося ему офицера, государь тотчас же определял, какого он полка. Обворожив своей улыбкой, он вспоминал его глухую стоянку, называл фамилию командира и, задав несколько трафаретных вопросов, с той же улыбкой прощался с ним и переходил к следующему. Так, обыкновенно, и проходили представления царю офицеров, окончивших военные академии, офицерские курсы и школы.

Я наблюдал такую же застенчивость Николая Второго при разговорах с мало знакомыми ему сановниками и генералами. И тольковшенное воспитанием и традициями сознание своего высокого положения, как монарха одной из величайших империй, заставляло Николая Второго побеждать такую застенчивость при разговорах с иностранными дипломатами.

Не могло ускользнуть от нас и то влияние, которое имела Александра Федоровна на своего мужа. Невидимые нити постоянно связывали супругов. Эту душевную связь было так легко наблюдать тем, кто часто видел на прие-

мах и аудиенциях их быстрый обмен взглядами, улыбками, в некоторых случаях ободряющими, в других — сочувствующими и одобряющими. Если государь, находясь в нескольких шагах от императрицы, беседовал с иностранным дипломатом или сановником, Александра Федоровна, также разговаривавшая с кем-нибудь, напрягала весь свой слух, чтобы не пропустить ни одного слова своего мужа и реплик разговаривавшего с ним. Я всегда удивлялся, как могла Александра Федоровна, все мысли которой были сосредоточены на наблюдении за государством, поддерживать великосветский, совершенно неинтересовавший ее, разговор с человеком, которого она в это время просто не замечала.

Николай Второй вообще очень быстро подпадал под влияние людей, к которым чувствовал симпатию. К несчастью многие пользовались этой чертой характера государя для укрепления своего положения при дворе, для создания карьеры или извлечения личных выгод. Неограниченным доверием и симпатиями царя пользовался честнейший и благороднейший министр двора — барон Фредерикс и многие из его сослуживцев по л. гв. Преображенскому и Гусарскому полкам, как генералы Татищев, Петрово-Соловово, полковники Дрентельн, Нарышкин, Комаров, Гольгофер и др. Никого из них нельзя обвинять в использовании доверия Николая Александровича для своих личных выгод. Таким же, пользовавшимся неограниченным доверием царя, был и его друг детства, наш бывший командир, князь Василий Александрович Долгоруков, запечатлевший свою преданность и любовь к государю добровольным сопровождением его в Тобольск и смертью в Екатеринбурге. Но многие другие, отрекшиеся впоследствии от несчастного царя, использовали его доверие только как средство для своих личных выгод, причинив большое зло как самому императору Николаю, так и России.

Но никто не имел такого влияния на Николая Второго, как его жена, императрица Александра Федоровна. Такой трогательной взаимной любви, которая неизменно, в продолжение 24-х лет связывала обоих супругов, я никогда потом не наблюдал. С того момента, когда Николай Александрович встретил свою будущую жену, другие женщины перестали для него существовать. Малейшее желание государыни являлось для него законом. Люди,

которым симпатизировала Александра Федоровна, тотчас же становились его самыми доверенными людьми, получали высокие назначения и нередко играли выдающуюся роль в управлении страной. Влияние Александры Федоровны часто заставляло государя изменять его отношения к людям, которых он прежде любил и которым всецело доверял. Этим объясняется его охлаждение к великому князю Николаю Николаевичу и к флигель-адъютанту князю Орлову. Любитель автомобильного спорта, князь Орлов многие годы добровольно исполнял обязанности царского шоferа, не доверяя пофесиональным шоферам возить государя, которому он был без лести предан, не нуждаясь по своему положению и огромному богатству ни в каких милостях. И, тем не менее, Николай Второй очень легко, без всякого сожаления, расстался с этим верным и обожавшим его придворным, как только этого потребовала заподозревшая его в какой-то интриге императрица. Влияние Александры Федоровны отражалось не только на отношениях государя к тем или другим министрам, государственным деятелям и придворным, но также и на его отношениях к ближайшим родственникам. Будучи почтительным и любящим сыном, Николай Второй, под влиянием жены, стал все более и более отдаляться от вдовствующей императрицы Марии Федоровны, неоднократно предстегавшей его против окружавших престол недостойных людей. Все это не было тайной для нас, молодых гвардейских офицеров, вращавшихся в обществе, в котором люди, преданные государю и искренно его любившие, с горечью говорили о нездоровой атмосфере Александровского дворца.

В описываемое время я политикой не интересовался, отдаваясь всецело занятиям, службе, воспитанию солдат и изучению истории русской армии. Поэтому многое, происходившее на моих глазах, не производило на меня глубокого впечатления и не изменяло моих убеждений и отношений к личности государя. Я наблюдал не политическую жизнь двора, а интимную домашнюю жизнь царской семьи, видел царя не столько в роли монарха, а как обворожительного гостеприимного хозяина, принимавшего в своем дворце представлявшихся ему подданных и иностранных гостей. Мои наблюдения поэтому резко отличаются от воспоминаний государственных деятелей и дипломатов, описывающих в своих мемуарах

другие моменты, имеющие гораздо более серьезное историческое значение. Никаких ошибок царя я не замечал, все его поступки считал правильными и не подлежащими никакой дискуссии. И только через несколько лет, незадолго до войны, столкнувшись с явлениями, дискредитировавшими государя и навлекавшими на него неудовольствие общественности, я, как и многие другие офицеры, тяжело переживал эти явления, но старался найти виновников, способствовавших возбуждению недовольства отдельных классов населения и армии. А приходится сознаться, что передвойной армия, более чем лояльно относившаяся к государю, все чаще роптала на несправедливости и на невнимательное к себе отношение со стороны таких, пользовавшихся доверием царя и дискредитировавших его престиж временщиков, как генерал Сухомлинов и окружавшие его бездарности..

На второй и особенно на третий год войны, когда мне пришлось соприкоснуться с последствиями преступной небрежности безответственных людей, стоявших во главе нашей военной администрации, я все более и более стал разочаровываться в том правопорядке, к которому привык с самых юных лет и который считал единственно правильным и справедливым. Но и тогда во мне пробуждалась лишь глубокая жалость к царю, к которому я никогда не питал неприязни. Если я позволял себе иногда осуждать его, то только за неудачный подбор советников и за слабохарактерность. И, когда после революции мне приходилось слышать намеки на какую то измену Николая Второго, я с негодованием отрицал такую клевету. История на фактах, до сих пор еще многим неизвестных, докажет, что, если бы Николай Второй захотел, то мог спасти себя и свою семью, изменив своему народу. Но, несмотря на то, что народ этот, доведенный до отчаяния политикой и поступками неспособных и преступных людей, отвернулся от царя и равнодушно отнесся к его падению, Николай Второй остался верен своей родине и народу и, пережив невероятные унижения, запечатлел эту верность мученической смертью.

Какой ужасной трагедией является вся жизнь этого горячо любящего свою родину, но совершенно неподготовленного к тяжелому бремени царствования монарха! Вступление на престол 26-тилетним молодым человеком, не успевшим ознакомиться с обязанностями правителя.

Женитьба по страстной любви на обожавшей его умной и образованной, но впавшей в мистицизм женщине. Рождение долгожданного сына, обреченного на неизлечимую болезнь. Неудачный подбор советников, в продолжение 24-х лет углублявших пропасть между ним и его народом. И, наконец, невыносимые унижения со стороны того народа, который он так любил, которому верил и в котором так жестоко разочаровался...

Покинутый всеми, он напрасно надеялся, томясь в пленау, что клявшиеся когда-то в вечной ему преданности спасут его, спасут не для нового владычества, на которое он никогда бы не согласился, а для того, чтобы мирно закончить жизнь в той семейной обстановке, о которой он мечтал все свое царствование. Но за 16 месяцев, которые ему суждено было прожить узником после отречения, люди, пользовавшиеся его доверием и милостями, не нашли в себе мужества пожертвовать собой для спасения своего монарха. Готовый принять помощь от бывших союзников, для спасения которых он не раз подвергал свою армию грозным испытаниям, надеясь на тех, кто клялись ему в верности и могли, но не сумели его спасти, он с твердостью отказывался от помощи врагов своей родины, предпочитая смерть измене своему народу. Только два генерала — Татищев и князь Долгоруков, доктор Боткин и несколько человек дворцовой прислузы последовали в ссылку за своим императором и разделили его судьбу...

Миллионы русских людей были замучены большевиками в застенках чрезвычаек, погибли в концентрационных лагерях, тюрьмах и ссылке. Но никому из них не пришлось пережить тех мук, которые были ниспосланы Провидением последнему русскому императору. Ибо никто из этих страдальцев не перенес таких моральных унижений, такого разочарования и предательства, как Николай Второй.

30. КОННО - ГРЕНАДЕРЫ.

Лейб гвардии Конно-Гренадерский полк, в который я вышел по окончании Пажеского корлуса, был одним из старейших полков русской армии, и в 1903 году праздновал свой 250-тилетний юбилей.

По окончании съемок, за две недели до производства в офицеры, пажи прикомандировывались к своим полкам для исполнения обязанностей младших офицеров. Сдав экзаменационной комиссии чертежи произведенных съемок и закончив другие корпусные дела, я и четверо моих товарищей — де-Витт, Брусилов, Дубасов и Кульnev — поехали в лагерную стоянку Конно-Гренадерского полка — село Дмитриево.

Не помню, как это село называлось раньше, но Дмитриевом оно было названо в честь великого князя Димитрия Константиновича, двенадцать лет прокомандовавшего конно-grenадерами и превратившего маленькую и грязную чухонскую деревушку в благоустроенный поселок. В Дмитриеве были выстроены великим князем небольшая, но красивая церковь, офицерское собрание и дача для командира полка. Офицеры снимали на лето чистенькие домики местных колонистов и крестьян.

Явившись командиру полка — генералу Роопу — мы представились другим офицерам, большинство которых были также пажами. Общество офицеров состояло из 36-ти человек, из коих было три полковника. Старшим полковником, хранителем и блюстителем полковых традиций, был Иосиф Лукич Исаарлов, более двадцати лет прослуживший в полку и пользовавшийся общим уважением и любовью. Конно-grenадеры пользовались репутацией скромного, спаянного крепким товариществом и дружбой, строевого, а также „холостого“ полка. Из тридцати шести офицеров только семеро были женатыми, остальные являлись закоренелыми холостяками, всецело отдавшимися службе. Полк заменял им семью. Нас сразу приняли в эту дружную семью, с которой мы быстро освоились.

15-го июня состоялось наше производство в офицеры. Пажи и юнкера были собраны на площадке у Петергофского дворца, куда вскоре прибыли Государь и Государыня. Поздравив нас с производством в офицеры, Государь сказал несколько слов о нашем долге перед родиной и пожелал успехов на служебном поприще. Как бывший камер-паж Императрицы, я должен был получить приказ о производстве из ее рук. На этот раз Александра Федоровна поздравила меня простыми, незаученными фразами. Впервые я увидел ее лицо, озаренное доброй и естественной улыбкой.

После производства, традиционного выпускного обеда в ресторане „Эрнеста” и объезда всяких „Буффоа” и „Аквариумов”, мы вернулись в полк и ревностно принялись за исполнение наших офицерских обязанностей. Приобретенные мною на войне практические знания заставили вахмистров и унтер-офицеров, относившихся с легким пренебрежением к молодым и неопытным офицерам, считаться со мной, как со старым офицером, а мой солдатский Георгиевский крест внушал солдатам не только уважение, но и нескрываемую ими симпатию. Год, проведенный простым солдатом среди солдат, приучил меня относиться к ним с любовью, не обращать внимания на маленькие прегрешения и заботиться об их нуждах, которые я хорошо знал по личному опыту. Должен сказать, что я был не единственным в полку офицером, так относившимся к солдатам. Большинство старых офицеров также заботились о своих солдатах и не злоупотребляли своей дисциплинарной властью, почему и пользовались уважением и любовью подчиненных. Это сказалось во время революции, когда во многих полках происходили прискорбные случаи не только оскорблений, но иногда и избиения офицеров. В нашем полку, до самого его расформирования, не было ни одного случая оскорблений или унижения офицеров солдатами.

В августе начались маневры, которые я всегда любил, так как они напоминали мне войну. Я вызывался вне очереди итти в разъезды, и солдаты любили ходить со мной в разведку. Несмотря на то, что я очень ретиво исполнял свои **обязанности** и сразу заслужил репутацию хорошего офицера, со мной во время маневров случилось приключение, едва не закончившееся моим арестом.

Я ехал с разъездом, и около Ропши (знаменитой царской мызы, в которой Алексей Орлов задушил императора Петра Третьего) встретился с разъездом уланского полка, которым командовал мой товарищ по корпусу князь Трубецкой, на год раньше меня произведенный в офицеры. Одна из лошадей разъезда Трубецкого, прыгая через канаву, споткнулась и сломала ногу. Ее нужно было пристрелить. Мы выезжали на маневры не в походной амуниции, которая была введена только через два года после моего производства в офицеры, а в служебной форме, с серебряным шарфом, перевязью и лядункой. Револьвер в черной лакированной кобуре

пристегивался к шарфу и, хотя под шарф продевался ремень, но тяжелый „Наган” оттягивал шарф, который постоянно приходилось оправлять. Поэтому мы выступали на маневры, пристегивая к шарфу пустую кобуру, а револьверный шнур привязывали к газетной бумаге, которую запихивали в кобуру. Ни у Трубецкого, ни у меня револьверов не было.. Мы слезли с коней и подошли к бедному животному, не зная, что предпринять и как прекратить его мучения. В это время на шоссе показалась группа всадников, во главе которой ехал великий князь Николай Николаевич, командовавший войсками Петербургского округа. Увидя лежащую рыжую уланскую лошадь (у нас были вороные кони), с которой солдаты уже сняли седло, великий князь спросил Трубецкого:

— Что случилось с конем?

— Нога сломана, ваше высочество.

— Так пристрелите его, о чём вы еще думаете?

— Слушаюсь, ваше высочество, — ответил Трубецкой, продолжая стоять на вытяжку перед великим князем.

— Выньте из кобуры револьвер, — приказал великий князь, поняв, что у Трубецкого в кобуре нет револьвера.

Трубецкой продолжал стоять, приложив руку к козырьку.

— Бумажка? — спросил, усмехнувшись, Николай Николаевич.

— Так точно, бумажка, — ответил Трубецкой.

Обернувшись к своей свите, великий князь приказал одному из ординарцев пристрелить бедное животное.

— А вы, корнет, доложите командиру полка, что я приказал арестовать вас на семь суток..

Отъезжая, великий князь внимательно посмотрел на меня и погрозил стэком:

— Вижу по вашему шарфу, что и у вас в кобуре бумага! Благодарите Бога, что это не ваш конь, иначе и вы тоже отправились бы сторожить деньги в Государственном банке! (арестованные офицеры сидели на гауптвахте при Государственном банке, на Садовой улице).

С тех пор я на маневры выезжал всегда с револьвером.

По окончании маневров полк вернулся на свою постоянную стоянку — в Петергоф.

Петергоф, называвшийся „русским Версалем”, был очаровательным уголком. Мне пришлось побывать и в Версале, но я никогда не сравню загородного дворца французских королей с нашим Петергофом. Хотя Версальский дворец многое больше и, может быть, красивее петергофского, но петергофские парки и фонтаны гораздо больше, живописнее и красивее версальских. Казармы полка находились между Старым и Новым Петергофом. Старинная полковая церковь Знамения, заложенная при Петре Великом и перестроенная Екатериной Второй, канцелярия и два эскадрона находились в старом Петергофе, а собрание и четыре эскадрона — в новом. „Нижний” парк и старинный, небольшой, но очень красивый дворец находились почти рядом с собранием.

В полку не было казенных офицерских квартир, и наши офицеры снимали квартиры в частных домах. Так как большинство офицеров были холостяками, то обыкновенно поселялись по двое и по трое в одной квартире. Я и четверо одновременно со мной произведенных товарищей по корпусу сняли впятером одну дачу на Золотой улице, против казарм.

Я был назначен заведующим новобранцами и готовился к этим интересным и ответственным обязанностям. В октябре назначенные в гвардию новобранцы начинали прибывать в Петербург. Два - три раза в неделю их собирали в Михайловский манеж для „разбивки” по полкам, которую производил всегда сам великий князь Николай Николаевич. Каждый гвардейский полк имел свой „тип”: в одном полку все солдаты были брюнеты, в другом — блондини, в третьем — рыжие, в некоторых полках — курносые, а в остальных — с прямыми носами. „Типы” особенно тщательно подбирались в гвардейской кавалерии. Николай Николаевич приезжал всегда в сопровождении великана—барабанщика Преображенского полка. Внимательно осмотрев собранных в манеже деревенских парней, великий князь писал мелом на груди каждого начальные буквы полка, в который он определял новобранца. Великан—преображенец клал свои лапиши на плечи новобранца и с криком „конно-гренадер” или „улан” так ловко его поворачивал, что парень летел через весь манеж, попадая в объятия „типовичного” унтер-офицера своего полка. На „разбивку”, для приема и отвода в полк новобранцев, назначался один из молодых

офицеров. Я любил ездить на „разбивку” и говорить с деревенскими парнями, которых нужно было подбодрить, обласкать и успокоить. Став уже старыми солдатами, бывшие новобранцы всегда помнили того офицера, который привел их в полк, и радостно улыбались, встречая его в казармах или на учениях.

Но в первый год моей службы мне пришлось всего два раза побывать на „разбивке”. В начале ноября меня вызвал командир полка и объявил, что я командируюсь в Петербург на „Высшие офицерские фехтовально-гимнастические курсы”. Я был совершенно расстроен. Мне так хотелось применить мои познания и опыт при обучении новобранцев, приучить этих деревенских парней к полку и к новой, столь чуждой им, обстановке и отвлечь их от понятной каждому тоски по родной деревне и семье! Я всегда считал, что роль воспитателя является одной из самых важных и ответственных обязанностей офицера. Поэтому эта командировка привела меня в отчаяние. Несмотря на мои просьбы, генерал Рооп не соглашался освободить меня от командировки на курсы, считая, что я являюсь самым подходящим кандидатом.

Явившись в назначенный день для представления заведывающему курсами генералу де-Витту, начальнику Николаевского кавалерийского училища, я встретился с товарищем по корпусу — стрелком Императорской фамилии Деллингсгаузеном. Мы двое оказались единственными, командированными на курсы, молодыми офицерами. Все остальные были почтенными поручиками и штабс-каптанами. Командировка эта считалась очень выгодной и приятной, так как „курсанты” получали по 4 рубля суточных, а 120 рублей в месяц были тогда большими деньгами. В первые же дни выяснилось, что нас, попавших на курсы прямо со школьной скамьи, обучать нечему. Итальянец Киавери, обучавший нас в корпусе фехтованию, и два чеха, инструкторы „сокольской” гимнастики, совсем с нами не занимались, обратив все свое внимание на наших коллег, изрядно позабывших гимнастику и фехтование и давно не практиковавшихся в них. Мы скучали, бродили по залам, сидели в курилке и недоумевали, зачем нас прислали на курсы?

Мы поселились с Деллингсгаузеном в маленькой гостинице на Бассейной улице, где жили офицеры, проходившие курс в академиях генерального штаба и военно-

юридической. От скуки мы записались в Театральный клуб и начали посещать карточную комнату и зал, в котором шла большая игра в лото. Мы условились, что будем делить выигрыши и проигрыш поровну и брать с собой в клуб не больше 25 рублей. Если кто-нибудь из нас выигрывал сто рублей, то оба прекращали игру и ехали ужинать в какой-нибудь хороший ресторан. В результате такой осторожной игры мы выиграли довольно крупную сумму. Но так как игра в клубе начиналась не раньше 10 часов вечера, а кончалась в 5 часов утра, то мы возвращались в нашу гостиницу на рассвете и конечно, просыпали часы занятий на курсах. Прошел месяц, и в одно, далеко не прекрасное для нас, утро мы были разбужены вестовым, принесшим нам приказ генерала де-Витта явиться „для объяснений по делам службы“. Генерал осыпал нас упреками.

— Через две недели состоится высочайший смотр, — сказал он после разноса, — как же вы, пропустив целый месяц занятий, явитесь на этот смотр? Я вынужден отчислить вас и вернуть в полки!

Но генерал был заинтересован, чтобы мы, молодые и ловкие, участвовали на смотре. Поэтому он договорился с нами, что мы будем ежедневно являться на занятия и не только примем участие в гимнастических упражнениях под музыку, но исполним какие-нибудь сольные номера. На мою долю выпал „марафонский бег“. Мы честно исполнили свои обещания, и на смотре я даже побил на пол-секунды какой-то европейский рекорд. Государь поздравил нас с окончанием курсов и вручил значек, который полагалось носить на правой стороне мундира.

Однако генерал де-Витт своего обещания не сдержал и на следующий день после смотра отчислил нас „за непосещение занятий“. Я был счастлив вернуться в полк, но мое самолюбие было сильно задето. Когда генерал Рооп сделал мне выговор за такое небрежное отношение к службе, я ответил ему, что сам Государь поздравил меня с окончанием курсов и собственноручно вручил значек, являющийся доказательством успешного прохождения их. Поэтому, если генерал де-Витт считает себя вправе отменять царскую волю, то я с его мнением считаться не намерен. Командир полка согласился со мной, и в приказе по полку было объявлено, что я успешно окончил курсы.

На следующий год, во время лагерного сбора, я был назначен инструктором гимнастики 2-й гвардейской кавалерийской дивизии и представил на смотру, на котором присутствовали Государь и президент Французской республики, 1200 гимнастов, прекрасно исполнивших несколько упражнений „сокольской“ гимнастики, за что получил орден св. Станислава.

Но в карты, несмотря на счастливый результат игры в Театральном клубе, я никогда больше, ни в полку, ни в клубах, не играл.

31. ПЕТЕРГОФ.

Петергоф был основан Петром Великим в 1709 году. Тогда, по приказанию Императора, на возвышенном берегу Финского залива, на месте, где впоследствии находились казармы л. гв. Конно-Гренадерского полка, был построен заезжий двор для моряков, застигнутых в море непогодой. Этот двор и был назван Петровским или „Петергофом“. Петру Великому понравились окрестности заезжего двора, и он приказал построить около него забавные (потешные) дворцы — Монплезир, Монбижу (переименованный затем в „Марли“) и Эрмитаж. Эти маленькие дворцы были закончены постройкой в 1714 году. В 1715 году, путешествуя по Европе, Петр Первый посетил загородный дворец французских королей — Версаль. Ему так понравились версальские фонтаны, что он решил устроить такие-же в окрестностях Петербурга. Конону Зотову, бывшему в то время резидентом при французском дворе, было приказано прислать в Петербург планы и подробные описания Версальского дворца и его фонтанов. Первоначально предполагалось устроить „русский Версаль“ в Стрельне (в семи верстах к востоку от Петергофа), но затем Петр Великий окончательно остановился на Петергофе. Из отстоявших в 30-ти верстах от Петергофа шлюзов были проведены через Бабий Гон (возвышенность, которую прежние владельцы Ингерманландии — шведы — называли Пепергонде) водопроводные трубы, и 9-го августа 1721 года забил первый петергофский фонтан (будущий „Самсон“) в гроте под строившимся тогда Петровским дворцом. Дворец этот, называвшийся тогда „Нагорным“, был

заложен в 1715 году и закончен еще в конце царствования Петра Первого.

После смерти Петра Великого Петергоф на некоторое время был забыт. Им вновь занялась Анна Иоанновна, часто приезжавшая сюда на охоту. При ней был переделан знаменитый фонтан „Самсон”, который должен был увековечить Полтавскую победу, одержанную 27-го июня 1709 года, в день св. Самсона. При ней-же были сооружены почти все главные фонтаны Нижнего сада (Шахматная гора, Золотая гора и 22 фонтана вдоль канала, проложенного от Петровского дворца к морю).

При Елизавете Петровне архитектором Растрелли был перестроен (вернее — заново построен) бывший „Нагорный” дворец, получивший название Петровского.

Императрица Екатерина Вторая, предпочитавшая Петергофу основанное ею Царское Село, но относившаяся с большим пietетом к памяти Петра Великого, также способствовала украшению Петергофа. При ней был разбит Английский парк, и архитектором Гваренги былложен Английский дворец. Тогда-же была проложена из Петербурга в Петергоф первая в России шоссейная дорога. Павел Первый, предвзято относившийся ко всему, сделанному Екатериной Второй, приостановил постройку Английского дворца, но все же сделал немало для украшения Петергофа. При нем был разбит „Верхний сад” и сооружен большой бассейн с фонтаном „Нептун”. При Александре Первом был докончен постройкой Английский дворец, а известным русским архитектором Воронихиным (строителем Казанского собора) — красивые колоннады с правой и левой стороны идущего от дворца к морю канала.

Из всех преемников Петра Великого никто не проявил столько забот о расширении и украшении Петергофа, как Император Николай Первый. Он особенно любил Бабий Гон, на трех возвышенностях которого им был построен дворец „Бельведер”, павильон „Сельский домик” и церковь св. Царицы Александры. Недалеко от Бабьего Гона были при нем построены и заселены семь деревень: четыре, названные в честь его сыновей — Сашино, Костино, Никино и Мишино — и три в честь дочерей — Мариино, Олино и Санино. В „Сельском домике” до последнего времени хранилась книга посетителей, где на первой странице расписались Николай Павлович и

члены его семьи. В центральной части Петергофа, на двух островах большого или „Серебряного” озера Николаем Первым были построены в итальянском стиле два красивых дворца-павильона — Царицын и Ольгин, в честь его супруги — Императрицы Александры Федоровны и дочери — Ольги Николаевны (будущей королевы Бюргенштедтской, скончавшейся сравнительно недавно — в 1892 году). В Александровском парке тогда же был построен „Швейцарский домик”, в котором находился бюст Александры Федоровны с надписью „Счастью моей жизни”. При Императоре Николае Первом начата была постройка Ораниенбаумской железнодорожной линии, соединившей Петербург с Петергофом, и заложен оригинальный вокзал „Новый Петергоф”.

О самом городе Петергофе я говорить не буду. Он черезчур мал, и в нем не было сколько-нибудь отличавшихся своей красотой и величием домов и дач. Весь Петергоф, как для его обывателей, так и для приезжающих посетителей, заключался в его дворцах и парках. Петровский дворец находился в центре Петергофа. Внизу под ним лежал „Нижний сад”, тянувшийся от „Оврага” (иначе называемого „Швейцарии”), отделявшего Старый Петергоф от Нового, до Царской дачи „Александрии”. В „Нижнем саду” находились три маленьких забавных дворца — „Марли”, „Эрмитаж” и „Монплезир”. Перед „Марли” был пруд, кишевший золотыми и другими рыбками, всплывавшими по звонку сторожа на поверхность для кормежки. В том-же „Нижнем саду” находились почти все фонтаны. От дворца к „Ковшу” (Военной гавани) проходил канал с перекинутым через него изящным мостиком. По обе стороны канала расположены в две линии 22 устроенных при Анне Иоанновне фонтана, так называемые „аллея фонтанов”. По левую сторону канала (если смотреть на Финский залив) находились фонтаны — „Монажерские”, „Золотая гора”, „Греческий храм” и „Ева”. По правую сторону — „Адам”, „Римские фонтаны”, „Шахматная гора” и „Пирамида”. Центральным, самым большим и красивым был фонтан „Самсон”, находившийся под самым дворцом и представлявший собой легендарную фигуру Самсона, раздирающего пасть льву. Из пасти льва била вверх могучая струя воды, которая, если смотреть на фонтан с моря, своей высотой почти достигала крыши дворца.

К заднему фасаду Петровского дворца примыкал сравнительно небольшой „Верхний сад” с бассейном и фонтаном „Нептуна”. Он был окружен очень красивой высокой железной решеткой и граничил с центральными улицами города. К западу от дворца и выше „Нижнего сада” находился „Английский парк”, соединенный с „Нижним садом” проходившей по „Швейцарии” дорогой. В Английском парке, на берегу небольшого озера, был построен архитектором Гваренги стильный Английский дворец. Продолжением Английского парка был „Заячий ремиз”, представлявший собой густой, пересеченный дорожками, лес. В „Заячьем ремизе” находился павильон „Никольский домик”. Еще дальше и южнее расположены высоты „Бабьего Гона” с „Бельведером” и „Сельским домиком”. К юго-востоку от Петровского дворца и „Верхнего сада” лежит „Серебряное озеро” с Царицыным и Ольгиным островами. Последний из Петергофских парков — „Александровский” (многие называли его „Верхним”) находится на восточной окраине, к югу от Петербургского шоссе. Вот эти четыре парка — Нижний сад, Верхний сад, Английский и Александровский — с находившимися в них дворцами павильонами и фонтанами и составляли „Русский Версаль”, который не только гордившиеся своим Петергофом обыватели, но и приезжие гости считали большие и красивее настоящего Версаля.

В Нижнем и Александровском парках были верховые дорожки, на которых всегда можно было видеть галопировавших офицеров всех трех квартировавших в Петергофе гвардейских полков. В Александровском парке часто ездил верхом Государь, обычно сопровождаемый казаком-конвойцем. Помню случай, произшедший с штабс-ротмистром нашего полка Петржкевичем, встретившим Государя на такой прогулке, не узнавшим его и сделавшим Царю замечание за неправильную езду. Вот как это произошло.

Петржкевич готовил своего коня к стоверстному пробегу и шел полевым галопом. На одном повороте он заметил ехавших ему навстречу всадников. К возмущению Петржкевича, всадники не сворачивали влево, как это полагалось при встрече с идущими „широкими аллюрами”.

— Повод влево, повод влево! — закричал Петржке-

вич приближавшемуся Государю.

Государь послушно свернул влево, а занятый исключительно своим конем и не сводивший глаз с секундомера Петржкевич, промчавшись мимо Государя, крикнул ему: „разве вы не знаете, что нужно брать повод влево?”

Александр Карлович Петржкевич был одним из скромнейших офицеров нашего полка, всецело отдававшийся службе и спорту. Вернувшись с галопа, он встретился с полковым адъютантом — А. П. Лаймингом — и вместе с ним отправился завтракать в собрание. Во время завтрака адъютанта вызвали к телефону.

— Знаешь-ли, Петрун, кому ты сегодня сделал замечание в парке? — спросил Лайминг, вернувшись от телефона.

— Кажется, какому-то пехотному офицеру. Эта „пехотная душа”, видя, что я иду полевым галопом, не свернул влево. Понимаешь, я чуть не сшиб его!

— Мне сейчас звонил дежурный флигель-адъютант, — сказал Лайминг, с трудом сдерживая улыбку: — Государь приказал передать его извинения тому офицеру Конно-Гренадерского полка, которого он встретил на верховой дорожке и которому не уступил дороги.

Петржкевич отличался удивительным хладнокровием. Хотя он и был смущен этим происшествием, но отнесся к нему с привычным спокойствием. Но сидевший за столом командир полка — генерал В. Х. Рооп, услыхав о произошедшем, сразу потерял аппетит, вскочил со своего места и набросился с упреками на Александра Карловича. Рооп был типичным „моментом”, дрожал за свою карьеру и мечтал о свитских аксельбантах. Теперь он считал, что Петржкевич погубил его карьеру, и что в государеву свиту он никогда не попадет.

Через месяц, на полковом празднике, Государь подошел к Петржкевичу и долго разговаривал с ним, интересуясь его спортивными успехами. В этот же день Государь поздравил и Роопа с назначением в свиту.

32. ЧУКЧИ.

На второй год моей службы я был откомандирован от Лейб-эскадрона и прикомандирован к пятому. Случилось это из-за охватившей полк „эпидемии само-

убийств”.

Старший офицер 5-го эскадрона — поручик Кржинский — проигрался в карты и, не имея возможности заплатить проигрыш, застрелился. Его торжественно похоронили с отдаием воинских почестей. Мы не успели еще пережить этой трагедии, как застрелился, почти на моих глазах, мой сверстник корнет Коренев. Причины этого самоубийства были непонятны. Коренев был жизнерадостным юношей, прекрасным офицером и общим любимцем полка. Мы также похоронили его с трубачами и воинскими почестями.. Через несколько дней после похорон Коренева застрелился только что произведенный в офицеры, двадцатилетний милый мальчик Ника Попов. Наш полковой врач, доктор Вульф, очень сведущий психиатр, уверял, что это были типичные явления „эпидемии самоубийств”.

Эпидемию эту быстро прекратил великий князь Николай Николаевич. Явившись в полк и собрав молодежь, он заявил, что отныне запрещает отдавать воинские почести самоубийцам. И эти печальные случаи прекратились.

В пятом эскадроне я оказался единственным офицером, так как командир — ротмистр Обермиллер — ожидал назначения на какой-то военно-административный пост и в эскадрон почти не заглядывал. Поэтому я фактически командовал эскадроном, заведывая одновременно и новобранцами.

Добившись, наконец, возможности обучать и воспитывать молодых солдат, я всецело отдался этому делу. На смотре мои новобранцы оказались лучшими в дивизии по строевой подготовке и отличались от других веселым видом, бойкостью и находчивостью. Я получил благодарность начальника дивизии и был тронут до слез, когда ко мне на квартиру явилась делегация от моих новобранцев, поднесшая мне образ святителя Николая. Вскоре после смотра новобранцев я был назначен помощником начальника учебной команды. Должность эта мне также пришла по душе. Я должен был за восемь месяцев подготовить из малограмотных солдат расторопных унтер-офицеров. Кроме усовершенствования в строевых занятиях, изучения огнестрельного и холодного оружия, их надо было обучить письму, чтению, четырем правилам арифметики, чтению и черчению

карт. Я добросовестно относился к своим новым обязанностям и даже составил небольшой учебник для полковых учебных команд.

Одновременно с должностью помощника начальника учебной команды, я был назначен и делопроизводителем полкового суда. Исполняя эти обязанности, я скоро стал и прокурором и защитником. Если солдат, совершивший какой-либо серьезный проступок, отдавался под суд, ко мне поступало все его „дело”, заключавшееся в дознании и свидетельских показаниях. Я посещал на гауптвахте отданных под суд и старался выяснить, чем было вызвано его преступление. Одновременно я приглядывался к солдату. И если я убеждался в действительно злом умысле, например, в заранее обдуманной краже, то брал на себя роль прокурора. Но если видел, что проступок совершен по легкомыслию, и бедный преступник искренне раскаивается, то становился его защитником. Я знал, что попавший хотя бы на месяц в военную тюрьму солдат — обречен превратиться в закоренелого преступника и с такой славой вернется на родину. Члены полкового суда всегда соглашались с заключением делопроизводителя. И я был счастлив, когда добивался полного оправдания или замены тюремного заключения арестом на полковой гауптвахте.

Хотя мои обязанности доставляли мне полное удовлетворение, и время, постоянно занятное службой, проекало быстро и незаметно, но меня часто тревожили затруднения материального характера. Несмотря на то, что полк наш был очень скромный, служба в гвардии была связана с большими и непосильными для многих расходами.

Так, например, холостые гвардейские офицеры были обязаны столоваться в офицерском собрании, а цены в собраниях были очень высоки и соответствовали ценам первоклассных столичных ресторанов. Поэтому гвардейский офицер тратил только на свое продовольствие от 75 до 100 рублей в месяц. А, если он позволял себе выпить лишнюю рюмку водки перед завтраком, или бутылку вина за обедом, то расходы эти еще более увеличивались. Кроме того гвардейский офицер должен был быть всегда безукоризненно одет. При мне в полку было семь форм одежды (парадная в строю, парадная вне строя, бальная или „эрмитажная”, обыкновенная в строю

и вне строя, служебная и повседневная). Для каждой из этих семи форм требовались разные предметы обмундирования и обуви. В результате — гвардеец тратил втрое больше на стол и вчетверо больше на обмундирование, чем армеец.

Бюджет только что произведенного гвардейского офицера колебался от 150 до 200 рублей в месяц. А жалование, вместе с квартирными, составляло всего 80 рублей. Только немногие состоятельные офицеры получали недостающие деньги от своих родственников. Еще меньший процент, окончивших с особым отличием военно-учебные заведения, получали стипендии (от 600 до 750 рублей в год), выдававшиеся специально для того, чтобы предоставить им возможность служить в гвардии. Остальные должны были как-то выворачиваться и старались через два года после производства выдержать трудные конкурсные экзамены в одну из военных академий.

Мне самому пришлось испытать эти тяжелые материальные условия, в которые попадало большинство молодых гвардейских офицеров. Окончив одним из первых Пажеский корпус, я получал 600-рублевую стипендию. Но и эта поддержка оказалась далеко недостаточной. По должностям помоицника начальника учебной команды и делопроизводителя полкового суда я получал около 20 рублей „столовых денег“. Благодаря этому, я с большим трудом, отказывая себе не только в развлечениях, но даже в поездках в Петербург для свиданий с родными, мог продолжать службу, которой и отдался всецело.

Проведя весь день (с 7 утра до 8 вечера, с двухчасовым обеденным перерывом) в учебной команде, я возвращался домой и погружался в делопроизводство полкового суда, довольно сложное и требовавшее знакомства с военно-судебными уставами, сводом военных постановлений и уставом о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Изучение этих руководств занимало у меня весь остаток вечера, и ни о каких развлечениях я не мог и мечтать.

Я жил на одной квартире с четырьмя товарищами по корпусу, одновременно со мной произведенными в офицеры. Мои сожители были люди небогатые и также безвыездно сидели в полку, с утра до вечера отдаваясь

служебным занятиям. Вот тогда-то мы, пятеро, и основали „общество чукчей”, получившее через некоторое время громкую известность в гвардейской кавалерии.

Один из моих товарищей достал только что вышедшую в свет, очень живо и талантливо написанную книгу „чукотские рассказы”. Книгу эту мы прочитали вслух и она нам так понравилась, что мы начали называть некоторые вещи по-чукотски. Так нашу квартиру мы называли „пологом”, водку — „огненной водой”, деньщиков — „ламутами”. Вскоре мы решили что, если будем подражать чукчам, то значительно сократим наши расходы. Мысль эта всем понравилась и, назвав себя „чукчами”, мы поклялись в продолжение целого года не нарушать священных обычаев чукотского племени.

Прежде всего, мы все записались на солдатский „котел”. За 4 рубля в месяц каждый из нас получал солдатский обед и ужин, которые наши деньщики приносили в судках из казарм.

В 12 часов дня мы появлялись в офицерском собрании, обменивались приветствиями с другими офицерами и незаметно исчезали, торопясь домой, где нас уже ожидали вкусные, густо наперченные, солдатские щи с порцией вареного мяса, и рассыпчатая гречневая каша. Выпив по рюмке „огненной воды”, мы с аппетитом обедали, немного отдыхали и снова отправлялись на занятия, а вернувшись вечером из казарм, с таким же аппетитом истребляли солдатский ужин, состоявший обыкновенно из тех же щей и каши.

Так как правоверные чукчи покидают свои „пологи” только для охоты, то и мы выходили из дома только на занятия, совершенно отказавшись от поездок в Петербург, посещения своих родных и знакомых, театров и кинематографов. Первый же месяц такой „чукотской жизни” дал каждому из нас около ста рублей экономии. На эту экономию мы приобрели учебные пособия, необходимые для подготовки в академию, и начали усиленно заниматься.

Само собой разумеется, что, будучи правоверными чукчами, мы обзавелись собаками, сопровождавшими нас в казармы и ставшими вскоре нашими любимцами. Из „чукотских рассказов” мы знали, что чукчи устраивают ежегодно праздник своим упряжным собакам, закалывая для них целого оленя. Поэтому перед Рожде-

ством и мы решили устроить нашим собакам „собачью елку”. В нашей общей гостиной была поставлена большая елка, все украшение которой состояло из „мерзавчиков” (маленьких бутылок водки по 1/200 ведра) и гирлянд из сосисок. „Мерзавчики” предназначались для „чукчей” и „ламутов”, а сосиски для собак.

На другой день после „собачьей елки” все чукчи были вызваны старшим полковником „для объяснений по делам службы”. Полковник распек нас за то, что мы бойкотируем офицерское собрание и „безобразничаем” у себя на квартире. Но, выслушав наши объяснения и получив приглашение на вторую „собачью елку”, которую мы решили устроить в канун Крещенья, полковник, бывший тоже любителем собак, сменил гнев на милость, взяв с нас обещание хотя бы изредка завтракать в собрании.

Вторая „собачья елка” была организована болеесолидно. Все офицеры, имевшие собак, получили отпечатанные на картоне с золотым обрезом приглашения следующего содержания:

„5-го января в 7 часов вечера наши собаки устраивают елку, на которую имеют честь пригласить вашу уважаемую собаку. Чукчи”.

К 7-ми часам вечера наша маленькая квартира наполнилась офицерами и собаками всяких пород, мастей и возрастов. Так как наши четвероногие гости вели себя не совсем благопристойно, скалили зубы, ворчали на своих товарищах и пытались вступить с ними в драку, то пришлось ускорить намеченную программу торжества. Эскадронные песенники пропели несколько песен, после чего собакам были щедро позданы висевшие на елке сосиски, а владельцы собак были приглашены к парадному ужину, меню которого состояло из тех же сосисок в томатном соусе, солдатских щей и каши. Никаких вин, шампанских, ликеров, кроме „огненной воды”, стоявшей в „мерзавчиках” перед каждым прибором, не было. Но, несмотря на такое скромное меню, ужин прошел весело и оживленно.

Этот „чукотский праздник” так понравился нашим гостям, что после него почти все холостые офицеры нашего полка записались в „чукчи”.

„Общество чукчей” просуществовало два года, но, в конце концов, было распущено по требованию хозяина собрания, ибо угрожало полным его банкротством. Об-

щество это принесло большую пользу молодым офицерам, которые, благодаря ему, выдержали самые тяжелые первые годы службы в полку.

В ежегодных аттестациях, которые составлялись на всех офицеров и от которых зависела их дальнейшая карьера, все пятеро основателей „общества чукчей” были аттестованы „выдающимися офицерами”, что было совершенно справедливо, ибо „чукчи” действительно старательно и толково занимались с солдатами.

„Общество чукчей” на долгое время оставило по себе память в полку. О нем часто вспоминали, а молодые офицеры старались подражать традициям „чукчей”, усердно занимаясь службой и воздерживаясь от дорого стоявших развлечений вне полка,

33. ГРЕХИ ТЯЖКИЕ.

Мои воспоминания о быте старой русской армии могут вызвать у некоторых читателей подозрения в том, что я скрываю темные стороны этого быта и приукрашиваю его. Чтобы избежать таких подозрений, я хочу вспомнить также и о „тяжких грехах” молодых офицеров, выражавшихся в безобидных кутежах и товарищеских пирушкиах, в которых и сам принимал участие. Однако, наши прегрешения не имели ничего общего с беспробудным пьянством, а полковая жизнь с беспросветным прозябанием офицеров, изображенными в произведениях больших, но предвзято относившихся к армии вообще, а к офицерам в частности, писателей, как Куприн и Замятин. Типы, выведенные Куприным в „Поединке” и других рассказах, представляли редкие исключения. По крайней мере за свою четырнадцатилетнюю службу в русской армии я никогда таковых не встречал.

Наши прегрешения я не скрываю и не стараюсь их оправдать, если они в таком оправдании нуждаются, что предоставляю судить читателям. Во всяком случае мне кажется, что эти грехи все же не были такими тяжкими, какими представляли их те, кто или совсем не знали офицерского быта, или умышленно хотели его очернить.

Полк наш считался строевым, а служба в нем — не легкой. Воспитанные на традициях, укоренившихся в полку со времен генерал-фельдмаршала В. И. Гурко, ко-

мандовавшего Конно-Гренадерами перед русско-турецкой войной, и которых строгое придерживался позднее другой наш командир — великий князь Дмитрий Константинович, — офицеры посвящали все свое время занятиям с солдатами, являясь не только их учителями, но и воспитателями. Результатом такого постоянного общения офицеров с солдатами являлось доверие солдат к своим офицерам, а из такого доверия вытекало более чем дружеское и скорее родственное отношение между всеми чинами полка.

Молодые офицеры с первого года службы приучались к строгим порядкам, установленным в полку, и к предъявлявшимся к ним со стороны их старших товариществ требованием. За редкими исключениями, все свои досуги офицеры проводили также в полку, несмотря на близость Петербурга, манившего многих своими развлечениями. После восьми, а в некоторые дни — десятичасовых занятий в эскадроне, хотелось отдохнуть среди товариществ, сыграть партию в теннис или на биллиарде, посидеть в уютной гостиони за чтением газет и журналов, а после обеда поболтать с товарищами за бутылкой вина. И вряд ли можно осуждать молодых людей за то, что иногда они позволяли себе выпить лишний стакан вина, послушать трубачей или песенников, отпраздновать удачный смотр или выигранный на скачках приз. Старшие товарищи зорко следили за тем, чтобы при таких пирушких строго соблюдались полковые традиции и не нарушались правила собрания. Так как полк наш считался холостым, то и старшие офицеры проводили свои досуги в собрании, охотно принимая участие в пирушках молодежи. А многие из них, несмотря на свои чины и почтенный возраст, оставались такими же корнетами, какими были в первые годы службы. Такими вечными корнетами, пользовавшимися всеобщей любовью молодежи, были полковники Анатолий Яковлевич де Витт, ротмистр Владимир Александрович Шульц, штабс-ротмистры Петржкевич, Скуратов и Ершов.

Мой товарищ — штабс-ротмистр Александр Владимирович Ершов — пользовался огромной популярностью не только в нашем полку, но и во всей русской коннице. Он по справедливости считался одним из лучших спортсменов России. Ершова хорошо знали завсегдатаи Коломяжских скачек, имя его было известно также в

Москве, Варшаве, Намюре, Париже и Лондоне. Жеребец Ершова — „Герцог Альба” — был лучшим стипль-чэз-ным скакуном европейских конюшен, и на нем Александр Владимирович взял первый приз на международной барьерной скачке в Лондоне. Хорошими ездоками справедливо считались те, чьи лавры переплетались с терниями и которые запечатлели свою любовь к спорту полученными на скачкахувечьями. Поэтому А. В. Ершов, у которого при падениях на скачках были сломаны два ребра, рука и ключица, вполне имел право называться не только хорошим, но и выдающимся наездником.

Казалось, что, будучи европейской знаменитостью, Ершов мог бы держаться высокомерно, избегая общения с простыми смертными, особенно с такими молокососами, как я и мои товарищи по выпуску. А между тем Александр Владимирович пользовался не только нашим уважением, но и горячей любовью, которую он снискдал к себе своим простым и товарищеским отношением к боготворившей его молодежи.

Старые спортсмены знают, что во время скакового сезона, как жокеи, так и участвовавшие в джентльменских скачках офицеры — вели монашеский образ жизни. Это была традиция, от которой никогда и ни при каких обстоятельствах не отступали наши спортсмены. Объяснялась эта традиция тем, что лошадь, как одно из умнейших животных, инстинктивно чувствует настроение, душевное и физическое состояние седока. Во время скачки лошадь и всадник сливаются в одно существо и переживают одинаковые чувства. Проведенная хозяином бессонная ночь или поглощенный им алкоголь вызывают в лошади брезгливость к седоку и нежелание подчиняться его воле. А в результате — лошадь „теряет сердце” и не увлекается желанием победить и выиграть скачку.

А. В. Ершов, весь скаковой сезон проводивший на Коломяжском ипподроме и не пропускавший ни одной джентльменской скачки, вел также примерный образ жизни, не позволяя себе не только излишеств, но избегая даже выпить бокал вина в кругу однополчан. Однако, такое воздержание во время скакового сезона не означало, что Александр Владимирович является рыцарем „ордена трезвенников”. Напротив, в другие времена года Ершов был не прочь провести ночь напролет в теплой

компании, особенно в кругу молодежи. Более того — ни одно „гуляние” в собрании, когда кому-нибудь из офицеров „попадала вожжа под хвост”, не обходилось без участия Ершова. Он не только участвовал в таких „загулах”, продолжавшихся иногда от обеда до утренней уборки, но всегда принимал на себя всю ответственность за их последствия. И, когда на следующий день старший полковник разносил молодых корнетов за разбитую посуду, залитые вином скатерти, вызов без его разрешения трубачей и другие нарушения строгих правил собрания, Александр Владимирович покрывал виновных и отвлекал на себя гнев „ближних бояр”.

Александр Владимирович жил недалеко от собрания, в угловом доме на Золотой улице, против которого на посту днем и ночью дежурил городовой. Для скучавших на своих постах петергофских городовых (Петергоф был тихим городком, не знавшим никаких происшествий — скандалов, грабежей или драк) позднее, вернее — раннее, возвращение домой Ершова было событием долгожданным и радостным. Подходя к своему дому, Александр Владимирович подзывал городового и задавал ему всегда один и тот же вопрос:

— Городовой, для чего ты здесь поставлен?

Городовой вытягивался в струнку и отвечал:

— Смотрю за порядком, ваше высокоблагородие: обязан задерживать пьяных и не допускать нарушения тишины и спокойствия.

— А ты разве не видишь, что идет пьяный, которого ты обязан задержать и отвести домой?

Городовой подходил к Ершову, почтительно брал его „под локоток”, подводил к подъезду, звонил и передавал „загулявшего” штабс-ротмистра выбегавшему на звонок денщику. В награду за точное исполнение своих обязанностей он получал пятирублевый золотой и долгое время, счастливо ухмыляясь, стоял вытянувшись и приложив руку к козырьку, перед подъездом Ершова.

А между тем Ершов, проведший всю ночь за столом и осушивший немало „флаконов”, никогда пьяным не был. Он умел пить и учил молодежь, как надо пить, чтобы не терять образа и подобия человеческого и офицерского достоинства. И горе было тому „молодому”, который „пил по глупому” и на следующий день пропускал занятия. Такого „пижона” Александр Владими-

рович долго держал в черном теле и прощал лишь после покаяния и торжественного обещания никогда больше не нарушать неписанного закона, гласившего, что „офицер может быть навеселе, но не смеет быть пьяным”.

Одной из установленных Ершовым в полку традиций — было „открытие балкона”.

Балкон этот, вернее, терраса, находился в прилегавшей к небольшому, но тенистому саду части собрания. Стеклянная дверь, выходившая из столовой на балкон, осенью плотно закрывалась и замазывалась замазкой. С наступлением первых теплых весенних дней — она открывалась и на балкон выносился стол, за которым часто проводили белые петербургские ночи засидевшиеся в собрании офицеры. Инициатива открытия дверей всегда исходила от Ершова и сопровождалась „загулом”, продолжавшимся до восхода солнца.

В первый год моей офицерской службы я впервые участвовал на таком „открытии балкона”. Один из моих товарищей — тоже молодой корнет — праздновал свои именины. За обедом он поставил „флакон вина” (бутылку шампанского) и угождал сидевших рядом товарищей, в том числе и А. В. Ершова. Обед кончился. Старшие офицеры разошлись, а молодежь продолжала веселиться. За одним „флаконом” последовали другие, и — „зварилась елка”. С разрешения Ершова были вызваны трубачи. За столом велась оживленная беседа, вспоминались скачки, спорили о достоинствах скаковых лошадей и талантах наездников и жокеев. Офицеры и трубачи проголодались. И тем и другим был заказан ужин с разнообразными холодными и горячими закусками. А после ужина Ершов решил — „открыть балкон”.

Трубачи заиграли марш „Гладиаторы”, под звуки которого Александр Владимирович, вооружившись стамеской, приступил к открытию дверей. Замазка окаменела и поддавалась с трудом. Неосторожным движением Ершов разбил зеркальное стекло и порезал себе руку. Но привыкший на скачках к более серьезным ранениям, он не обратил внимания на такой пустяк и, завязав руку платком, продолжал операцию. Вскоре двери распахнулись, и в столовую проник с моря бодрящий предрассветный ветерок. Стол был вынесен на балкон, и пир продолжался. Но одним из важнейших моментов „открытия балкона” являлось по традиции приветствие восходя-

щего солнца. Густые деревья сада закрывали уже появившееся над горизонтом светило. Чтобы увидеть и приветствовать его — нужно было взобраться на крышу соседнего фуражного сарая. Трубачи подняли Ершова на руки, подсадили на крышу и здесь, высоко поднявь бокал вина, Александр Владимирович приветствовал наступивший день и поздравил нас и трубачей. На этом торжество закончилось. Поблагодарив и наградив трубачей, Ершов отпустил их спать, а мы, выпив по последнему бокалу, разошлись по своим эскадронам, в которых уже началась утренняя уборка лошадей. Один лишь корнет Повалишин, неудачно последовавший за Ерзовым, сорвавшийся с крыши и насадивший себе основательную шишку, прикладывал мокрую салфетку к затылку и приводил себя в порядок, чтобы не опоздать на занятия.

Петергоф мирно спал, а стоявший на посту против дома Ершова городовой — с нетерпением поджидал возрвщения штабс-ротмистра, предвкушая удовольствие получить золотой за точное исполнение полицейской инструкции.

34. ЧЕТВЕРОНОГИЕ ДРУЗЬЯ.

В Петергофе я обладал большим живым инвентарем, состоявшим из лошадей, собак и разных зверей и птиц. Кроме трех лошадей, пуделя Каро и фокс-терьера Гримзы, у меня был ежик Степка, белка Ванька, медвеженок Мишка и журавль Журка. К удивлению моих товарищ, все эти звери прекрасно уживались и между собой не ссорились.

Самым почтенным из них был товарищ моего детства — старый, ослепший уже на один глаз, пудель Каро. Солидность и благодушие Каро импонировали другим зверям, благодаря чему и поддерживались мир и порядок в моей звериной семье.

Ежик Степка, которого я поймал в нашем саду, прожил у меня несколько лет и до того привык к людям, что, вопреки всем известной привычке ежей — спать днем и бродить по ночам, очень скоро стал преспокойно спать ночью, а гулять по комнатам днем.

Во время завтраков и обедов Степка взбирался ко мне на колени и, посапывая своим носиком, требовал

угощения, с удовольствием поедая все, что подавали нам на стол денщики.

Степка был удивительным чистюлем, и мы прозвали его санитаром нашей квартиры. С его появлением исчезли мухи, тараканы и мыши, которых он беспощадно уничтожал. Это было удивительно милое животное, которое нельзя было не любить. Единственной его дурной привычкой была способность выбирать самые неподходящие места для ночлега. Однажды, торопясь утром на занятия, я никак не мог натянуть высокого сапога, который на эту ночь Степка облюбовал для своей спальной. С большим трудом я вытащил его оттуда и с тех пор тщательно осматривал по утрам сапоги, чтобы не наколоться опять на его колючки.

Еще более ручным был Ванька — молодая белка, которую солдаты поймали в парке и, зная мою любовь к зверям, подарили мне. Только первый месяц Ванька жил в клетке, специально для него построенной в эскадроне. Через месяц, выскочив из клетки, которую я забыл закрыть, Ванька начал жить на свободе. Он прыгал по всей квартире, выскакивал в сад, лазил по деревьям, но всегда возвращался домой. Иногда в саду на него нападали сороки, и тогда Ванька подымал страшный крик, призываю к себе на помощь наших денщиков, которые разгнали сорок и уносили Ваньку домой.

Для ночлега Ванька каждый вечер выбирал новые места. Больше всего он любил баварские пивные кружки, стоявшие на полках в столовой. Украв у кого-нибудь из нас носовой платок, он разрывал его в клочки, делал себе из них постель на дне кружки и сладко в ней высыпался. А иногда Ванька залезал на ночь в карман моего „френча“. Торопясь на занятия, я одевал „френч“, не замечая спавшего в кармане Ваньки. В эскадроне — выспавшийся Ванька вылезал из кармана и, зевая и потягиваясь, взбирался ко мне на плечо, сидя на котором и возвращался домой.

Мишке, которого я получил четырехмесячным медвеженком, прожил у меня два года. Он был также милым и ручным зверем. Единственным его недостатком была любовь к сладким наливкам, которые мы получали из деревни. Мишка очень скоро узнал, где хранились эти наливки и, если денщики забывали закрыть на ключ дверцы буфета, выкрадывал одну - две бутылки, ловко

их откупоривал и выпивал до последней капли. А, напившись наливки, пьянецкий Мишка забирался куданибудь в угол и спал по двенадцати часов сряду.

Бедный Мишка кончил свою жизнь самоубийством. Как-то мой денщик, которому нужно было уйти из квартиры, привязал Мишку к сундуку. Соскучившись сидеть на сундуке, Мишка вздумал влезть на буфет, но зацепился за него веревкой и повесился.

Журку — молодого журавля с перебитым крылом — подарил мне ропшинский лесничий. Его привезли на нашу петергофскую дачу, выпустили в сад, и он очень скоро в нем акклиматизировался.

Наши денщики сразу подружились с Журкой и целий день возились с ним, потчую его всевозможными птичьими яствами. Вскоре выяснилось, что Журка больше всего любит макароны и рубленые котлеты. Поэтому меню наших „чукотских“ обедов пришлось изменить, приспособив их ко вкусам Журки. И, хотя ежедневно подаваемые денщиками котлеты с макаронами порядочно нам надоели, но делать было нечего. Денщики распоряжались как нашим имуществом, так и нашим столом. А так как они стали заботиться больше о Журке, чем о нас, то мы должны были покоряться и питаться любимыми Журкиными кушаньями.

Настала зима, и Журка переехал из сада на кухню. Понятно, что он не мог вести себя иначе, как все птицы. Поэтому наша кухня по утрам выглядела не особенно опрятной. Но денщики заявили нам, что кухня находится в их ведении, и нам совсем не нужно в нее заглядывать, особенно до уборки.

Весной Журка снова перекочевал в сад. Крыло его зажило, и однажды перепуганный денщик прибежал в эскадрон и доложил мне, что Журка улетел. Весь этот лень я, мои сожители и денщики ходили злыми, хмурились и укоряли друг друга в недосмотре за улетевшим Журкой. Но как мы обрадовались, когда вечером Журка снова появился в саду и, взобравшись по ступенькам террасы, начал стучать клювом в стеклянную дверь, требуя ужина!

С тех пор Журка начал каждое утро куда-то улетать. Его видели расхаживающим по парку, иногда он появлялся на Полковой улице, а скоро зачастил и в эскадронные дворы, где свел знакомство с солдатами и бо-

ролся с ними.

Весной, в хорошую погоду, в офицерском собрании завтрак накрывался на открытой террасе. И вскоре, в часы завтрака на террасе, стал появляться Журка. Он прилетал из дома, спускался в сад собрания и с независимым видом взбирался по ступенькам на террасу, где обходил завтракавших офицеров.

Кроме командира полка — генерала Роопа, все офицеры души не чаяли в Журке. Поэтому его охотно угождали котлетами, макаронами и пивом, которое Журка очень любил. По правилам собрания был установлен штраф для офицеров, приводивших в собрание своих собак и лошадей. Генерал Рооп, неприязненно косившийся на Журку и никогда его не угождавший, неизменно обращался к старшему полковнику с вопросом:

— Анатолий Яковлевич, почему вы не штрафуете корнета Вороновича за его птицу?

— Не могу, ваше превосходительство, — отвечал, разводя руками, полковник: — в правилах предусмотрены лишь собаки и лошади, а не птицы!

Когда полк выступил в лагери, Журка, конечно, последовал за ним. Мой переезд в лагери был связан с большими, чем у других офицеров, хлопотами. Хотя мое движимое имущество состояло всего лишь из одного сундука, в котором денщик „Жизеф”, кроме белья и обмундирования, хранил и все мои капиталы, но весь мой зверинец также переезжал в лагерь, и мне приходилось нанимать для него подводу. В ней, кроме сундука, размещались привязанный к грядке телеги Мишка, развалившийся на сене Каро, водворенный на время перезда в клетку Ванька, мирно спавший в коробке Степка и сам Жизеф, обнимавший Журку, все время пытавшегося вырваться и улететь домой.. Один лишь Грымза принципиально не желал ехать на подводе и бежал в припрыжку, то отставая, то далеко обгоняя звериную компанию.

Журка прожил у меня три года и погиб трагической смертью — в драке.

В одно злополучное утро, когда я и мои товарищи были на занятиях, а денщики убирали квартиру, Журка играл в саду с детьми, часто приходившими к нему в гости. Один из мальчуганов, желая отогнать нападавшего на него Журку, бросил камень и попал ему в голо-

ву. Журка присел на землю, жалобно раскрыл клюв и закатил глаза: удар оказался смертельным. Горе невольного убийцы и его раскаяние были неприворными. Но Журка был мертв и ни раскаяние „убийцы”, ни горе мальчуганов не могли его воскресить...

Лучшими моими друзьями и любимцами были все же собаки и лошади.

За время моей службы у меня было три лошади: скаковой жеребец Муфару, кобыла Илька и конь Вестник. Мой вестовой — Козакевич — прозвал Вестника Васькой и, так как Вестник привык к этой кличке и отзывался на нее, то я стал также называть его Васькой.

Из этих трех лошадей я больше всех любил Ваську. Муфару и Ильку я приобрел уже взрослыми лошадьми, выезженными прежними владельцами. А Ваську я взял из ремонта, когда его только что привели в полк молодым трехлетним конем. Я сам его выездил и полюбил, как ребенка. И Васька отвечал мне такой же любовью и преданностью. Если я входил в конюшню, Васька чуял меня и приветствовал громким ржанием, хотя его стапок находился в противоположном конце длинной конюшни.

У Васьки был прекрасный аттестат, доказывавший его почти чистокровное происхождение от знаменитого скакового жеребца и полукровной матери. Он отличался огромным ростом и был самой высокой лошадью в эскадроне. Вороной, с белыми чулками на задних ногах и такой же белой звездочкой во лбу, Васька был одной из красивейших лошадей в полку, которой все любовались. К тому же у Васьки был прекрасный характер. Это был умный, послушный, ласковый и веселый конь. За пять лет я ни разу не ударил Ваську хлыстом и приучил его исполнять все мои требования исключительно лаской.

Муфару, на котором я также иногда выезжал в строй, отличался от Васьки упрямством, и я часто вынужден был прибегать к хлысту, чтобы его образумить. Сколько трудов стоило мне приучить Муфару не бояться переправы через воду и не бросаться в сторону от только что появившихся тогда автомобилей. А Васька с удовольствием влезал по самое брюхо в любую реку, а к автомобилям привык через несколько дней. Особенно после того, как я один раз подвел его к машине, на радиатор которой положил кусочек сахара.

Нужно сказать, что Васька был большим лакомкой и обожал сахар. Выезжая Ваську, я всегда имел карманы, набитые кусками сахара, которыми вознаграждал своего коня за послушание или ловко перепрыгнутое препятствие.

Благодаря своему росту и длинным ногам — Васька был первоклассным прыгуном. Какие только замысловатые барьера не воздвигал я в манеже, напротивая Ваську! И он брал их так легко и с таким удовольствием, что вызывал восхищение всех присутствовавших в манеже зрителей. Высокая двух-аршинная стенка, наваленные друг на друго бревна, параллельные брусья и широкий двухсаженный ров — не представляли для Васьки никаких затруднений. Но каждый раз, одолев препятствие, он требовал вознаграждения — угощения сахаром. Позднее, готовя Ваську к „конкурам“ (барьерным скачкам в манеже), я с трудом приучил его получать такое вознаграждение „оптом“, за взятые подряд пять или шесть препятствий. И только благодаря этому я мог выигрывать призы, так как иначе — Васька останавливался бы после каждого барьера и остался бы за флагом.

Сколько серебряных портсигаров и кубков выиграл мне Васька! Но, кроме призов, я, благодаря Ваське, часто „купался в шампанском“. Как я уже говорил, он был удивительно красивой и спокойной лошадью и прекрасно знал все сигналы. Без всякого принуждения он сам переходил с шага на рысь и с рыси на галоп, как только трубач подавал соответствующий сигнал. Понятно, что более старые офицеры, для которых смотр иногда являлся своего рода экзаменом для повышения по службе, часто просили меня одолжить Ваську на какойнибудь парад или смотр. По установившемуся обычаю за такую „аренду“ коня владелец получал „флакон вина“ (бутылку шампанского). Когда наш полк принял князь В. А. Долгоруков, я стал подвергаться чуть ли не ежедневным приставаниям князя, умолявшего меня продать ему Ваську. Князь Долгоруков всю свою службу провел вне строя, в царской свите, и плохо ездил верхом. Такая красивая и спокойная лошадь являлась для него настоящим кладом. Увидев первый раз Ваську на полковом празднике, Долгоруков потерял спокойствие:

— Пгодайте мне вашего коня, погучик, — прокартали он, обращаясь ко мне сразу после парада.

— Своего коня я не продаю, ваше сиятельство, ответил я князю.

— Я заплачу вам за него любую цену и дам в придачу моего „Гунтера”, — продолжал влюбившийся в Ваську генерал.

Но, к огорчению князя, я решительно отвергал все его соблазнительные предложения.

Однако, я не мог отказать добродушному „Вале” (так прозвали мы нашего командира) в одолжении Васьки на некоторые смотры и парады. Когда Долгоруков впервые обратился ко мне с такой просьбой, я предупредил его, чтобы он не забыл после смотра угостить Ваську сахаром и в шутливой форме напомнил о традиционном „флаконе”. После смотра князь, пришедший в восторг от Васьки, скормил ему чуть ли не фунт сахара. А, когда я пришел в собрание, буфетчик торжественно передал мне целый ящик (24 бутылки) французского шампанского, присланного „Валей”. Целых две недели я угощал товарищей шампанским, которое мы пили за здоровье Васьки.

Мой Васька был не только добрым конем, на которого можно было вполне положиться как на ученьях и парадах, так и на барьерных скачках. Он был также моим верным другом и товарищем. Не знаю — поймут ли читатели, не имевшие дела с лошадьми, те чувства, которые я питал к Ваське. Но думаю, что старые кавалеристы и спортсмены, вспомнив своих лошадей, — поймут.

Почти ежедневно я ездил на Ваське либо в поле, либо в манеже. А, если случайно я не мог доставить себе этого удовольствия, то непременно утром и вечером навещал своего друга в конюшне. Я уже говорил, что Васька чуял мой приход и всегда встречал меня приветливым ржанием. И я проводил целые часы в его станке, лаская моего товарища, угощая его сахаром, расправляя ему гриву и поглаживая его блестящую шерсть.

Мой фокстерьер Грымза был также большим другом Васьки. Когда мы вместе с ним входили в Васькин станок, Грымза с радостным визгом бросался к коню, лизал его в морду и приветливо вилял обрубком хвоста. А, когда, возвращаясь с верховой прогулки, я слезал с Васьки, то отдавал повод Грымзе, и собака, схватив зубами повод, водила коня по кругу до тех пор, пока он не остынет.

Всю войну я проездил на Ваське, так как обе других

моих лошади — Муфару и Илька — погибли в обозе, на который „Цеппелином” была сброшена бомба, попавшая в сарай и убившая всех находившихся в нем людей и лошадей.

В июле 1915 года Васька был одновременно со мной ранен осколком тяжелого снаряда под Владимиром Волынским. Но, когда я, после продолжительного климатического лечения, вернулся из Гагра и принял стоявшую в Луге запасную часть нашего полка, то встретил Ваську совершенно выздоровевшим и попрежнему веселым.

Расстался я с этим чудным животным после октябрьской революции, когда наша часть была расформирована, а мне пришлось уехать на Кавказ. Взять с собой Ваську оказалось невозможным. И я подарил его моему вестовому Козакевичу, который пять лет ухаживал за Васькой и заботился о нем. Козакевич уезжал к себе на родину, в отделившуюся от России Польшу, и ему, как польскому гражданину, было разрешено взять с собой все движимое имущество. Он погрузил Ваську в вагон и я с группой расстался с этими двумя верными товарищами.

В 1924-м году судьба забросила меня в Польшу. На одной из улиц Белостока я столкнулся с Козакевичем, который, как оказалось, проживал на хуторе, в семи верстах от этого города. Мы обрадовались друг другу, расцеловались, и Козакевич потребовал, чтобы я провел несколько дней у него в гостях. Я не мог отказаться от такого приглашения. А, приехав на хутор Козакевича, я встретился с Васькой.

Со слезами на глазах я обнял моего верного друга, который меня обнюхал и как будто узнал, ибо на мои ласки ответил тихим, приветливым ржанием.

Васька, которому было уже 15 лет, постарел, но был в хорошем виде и попрежнему ласков и весел. Как видно, Козакевич холил его, хорошо с ним обращался и не утруждал тяжелой работой. Он тотчас же предложил мне оседлать Ваську и прокататься на нем. Но я отказался... Мне было бы черезчур тяжело будить воспоминания о безвозвратном прошлом...

Должен признаться, что, несмотря на ту большую радость, которую доставила мне встреча с этими двумя товарищами, я долго сожалел потом, что согласился посетить у Козакевича. Встреча эта разбередила уже зажившую рану. И вторичное, на этот раз — последнее,

прощание с Васькой так меня взволновало, что я уехал из Белостока совсем разбитым... Мне казалось, что я возвращаюсь с похорон горячо любимого друга...

35. ПОЕДИНОК.

Так, чередуя занятия в эскадроне и учебной команде с развлечениями, которые доставляли мне мои звери, проходили первые годы моей офицерской службы. Иногда светлые и спокойные дни петергофской жизни омрачались неприятностями. Одной из таких неприятностей, как для меня, так и для всех моих товарищ, явилась дуэль, происшедшая в нашем полку между двумя, пользовавшимися общей нашей любовью и уважением, офицерами.

Я уже упоминал о штабс-ротмистре Ершове, который был кумиром полковой молодежи. Штабс-ротмистр Скуратов также пользовался общей любовью молодых офицеров. Но в то время, как Ершов по популярности не искал, Скуратов заискивал перед молодежью, покровительствовал некоторым своим любимчикам и заступался за них перед старшим полковником, когда они оказывались виновными в служебных упущениях.

Скуратов ревновал Ершова к молодежи. На этой почве в один несчастный день между ними произошла ссора, во время которой Скуратов оскорбил Ершова каким то обидным выражением. Несмотря на все усилия товарищ, примирить противников не удалось, и обиженный Ершов вызвал Скуратова на дуэль.

По военным законам поединок разрешается судом общества офицеров, который утверждает также избранных противниками секундантов. Суд чести поединок разрешил и, по просьбе Ершова, утвердил меня его секундантом.

Дуэли между двумя офицерами одного и того же полка случались очень редко. В нашем полку это был, кажется, первый случай. Жизнь в полку замерла. Офицерское собрание — осиротело. Никто из офицеров не зашивался в нем и, вскоре пообедав, все расходились по домам. Настроение у всех было подавленное. Все время, пока шли заседания суда чести, а после него приготовления к поединку, все офицеры ходили, как в воду

опущенные. Многие волновались за исход дуэли, ибо оба противника пользовались общей любовью. И, если молодые офицеры симпатизировали больше Ершову, то это объяснялось, главным образом, его скаковыми успехами.

Накануне поединка секунданты, руководствуясь „дуэльным кодексом Дурасова”, вырабатывали условия дуэли и представляли их на утверждение суда общества офицеров. Так как я и старший секундант Скуратова одинаково относились к обоим противникам, то мы постарались выработать наиболее мягкие условия и решили, что противники обменяются только одним выстрелом с дистанции в двадцать шагов. Суд чести согласился с этими условиями. Поэтому, хотя я и не сомневался в благополучном исходе дуэли, но как само столкновение между двумя товарищами, так и процедура подготовления к дуэли, являлись тягостными и вызывали сильное нервное напряжение.

Мы долго выбирали место для поединка. Оно должно было находиться вдали от города, в глухом, недоступном для любопытных глаз месте. Такое место нашлось в пяти верстах от Петергофа и в одной версте от Ропшинского шоссе, на полянке, со всех сторон окруженной лесом и густым кустарником. Поединок и причины его вызвавшие должны были храниться в губокой тайне. Конечно, тайна эта не могла быть долговечной, и на следующий день после дуэли весь Петергоф говорил о ней. Но до рокового момента обмена выстрелами — ее удалось вполне сохранить.

Я должен был взять хранившиеся в полковом музее и, к счастью, очень редко употреблявшиеся дуэльные пистолеты и заказать в оружейной мастерской круглые пули. Пистолеты были гладкоствольные, а пули я умышленно заказал меньшего калибра. Забитые в дула пистолетов, они свободно в них болтались. Меткость стрельбы и вероятность попадания были поэтому ничтожны.

Ранним утром, еще до рассвета, две кареты повезли противников и их секундантов на место дуэли. Эта поездка в допотопных каретах, взятых на прокат у петергофского купца, отпускавшего их на свадьбы и похороны, напоминала сцены из „Евгения Онегина“. Оставив кареты на шоссе, мы прошли пешком к выбранной нами полянке. Все дальнейшее происходило так, как бывает на

всех дуэлях. Секунданты обозначили „барьер”, бросив на землю шинель, и отсчитали от него в каждую сторону по десять широких шагов. Воткнутые в землю сабли указывали места, с которых противники должны были обменяться выстрелами. Как полагается, секунданты предложили противникам помириться, но, встретив отказ, вручили им пистолеты. По моему счету „раз” противники начали сходиться, по счету „два” — целиться и, наконец, по счету „три” — оба одновременно выстрелили.

Как я и думал, никто из противников не был ранен. Не ожидая обычного предложения секундантов считать ссору ликвидированной, Ершов и Скуратов подошли друг к другу и пожали протянутые руки.

К сожалению, дело этим не кончилось. По неписанному закону, после поединка один из противников должен был покинуть полк. Вопрос о том, кто из них должен перевестись в другой полк, решался опять судом общества офицеров. Все мы ожидали, что суд предложит Скуратову, как виновнику ссоры, покинуть полк. Но к нашему удивлению, суд решил иначе и постановил, что уйти из полка должен Ершов. Он перевелся в л. гв. Гродненский гусарский полк.

Молодые офицеры были возмущены таким постановлением, однако, протестовать против него — не имели права: решения судов чести окончательны, обжалованию не подлежат и возражать против них нельзя. Тогда мы решили на ближайшем общем собрании общества офицеров, на котором должны были состояться перевыборы членов суда чести, хозяина собрания и других должностных лиц, выразить недоверие членам суда. Огромным большинством голосов мы забаллотировали весь состав суда чести, который обычно всегда переизбирался. В истории полка это был первый случай открытого выступления младших офицеров против своих старших товарищей. Командир полка — генерал Рооп — растерялся и не нашел ничего умнее, как донести рапортом начальнику дивизии о запрещенном дисциплинарным уставом „действии скопом” младших офицеров. Это грозило нам большими неприятностями, вплоть до разжалования в рядовые.

К нашему счастью, начальником дивизии был генерал Брусилов, старый конно-grenadier, которому было неприятно разглашение произшедшего в его родном пол-

ку инцидента. Кроме того, среди „преступников” находился и наш товарищ — сын Брусилова. По этим причинам генерал не дал ходу рапорту Роопа и, явившись в полк, собрал всю молодежь для „родительского внушения”.

А. А. Брусилов сделал нам строгий выговор и сказал, что наш поступок вносит раскол в дружную полковую семью. Так как этот раскол вызван нами, младшими офицерами, то он должен быть нами же и улажен. Мы должны принести извинения нашим старшим товарищам и на следующем собрании снова выразить им доверие.

Попросив разрешения объяснить наш поступок, я, как старший корнет, от имени своих товарищей ответил генералу, что раскол вызван не нами, а непонятным нам решением суда чести, удалившим из полка не обидчика, а обиженного.

Генерал молча согласился с нами. Мы это поняли по его глазам и по тому, как он с нами простился, взяв с нас обещание, что мы своим поведением восстановим добрые отношения с нашими старшими товарищами. После этого, генерал Брусилов имел долгую беседу с полковниками и командиром полка. Генералу Роопу он выразил неудовольствие за рапорт, последствия которого отразились бы прежде всего на самом командире. Главнокомандующий гвардией — великий князь Николай Николаевич — никогда бы не согласился предать суду и разжаловать в рядовые 19 младших офицеров гвардейского полка. Мы подверглись бы какому-нибудь незначительному дисциплинарному взысканию, но генерал Рооп был бы, наверно, уволен в отставку.

Наши старшие товарищи также поняли свою ошибку. Через некоторое время они настояли на том, чтобы Скуратов сам покинул полк и перевелся в один из армейских полков. Чтобы не повредить дальнейшей карьере Скуратова нужно было подождать его производства в ротмистры. Когда оно состоялось, Скуратов подал рапорт и перевелся штаб-офицером в Александрийский гусарский полк.

А мы на следующем собрании снова выбрали обиженных нами товарищей на почетные должности, чем и был заключен мир между старшими и младшими офицерами.

Благодаря А. А. Брусилову, весь этот инцидент не имел огласки и кончился к общему удовольствию восста-

новлением добрых и дружественных отношений между всеми членами нашей полковой семьи.

36. ДЕЛО КОРНЕТА ДОНЕ.

Незадолго до войны, если не ошибаюсь, осенью 1912 года, полк наш был взволнован печальным и тяжелым инцидентом. Молодой, недавно произведенный в офицеры, корнет Доне застрелил буфетчика офицерского собрания — солдата 2-го эскадрона Мочалина.

Доне был скромный офицер, которого любили не только товарищи, но также и солдаты его эскадрона. Поэтому поступок его вызвал общее недоумение.

Помню, как меня поразило это происшествие, о котором я узнал через несколько минут и о котором мне пришло производить первое дознание.

Дело было в субботу. По субботам занятия в эскадронах кончались к 12-ти часам дня. Но в учебной команде (унтер-офицерской школе), в которой я был помощником начальника, по субботам происходили вечерние занятия в классах. Я вернулся домой в 9 часов вечера и собирался пить чай. В это время зазвонил телефон. Один из молодых корнетов вызывал меня по очень важному делу в офицерское собрание. Взволнованный голос корнета указывал на то, что случилось что-то необычное. Схватив фуражку, я выбежал из дома и поспешил в собрание. В вестибюле меня встретили два, перепуганных на смерть, вестовых и вызывавший меня по телефону корнет. Из дежурной комнаты раздавались взволнованные голоса дежурного по полку — корнета Доне и двух других молодых офицеров. Предчувствуя недобро, я прошел в дежурную комнату.

— Я застрелил Мочалина, бросился ко мне белый, как бумага, и едва владевший собой Доне, — понимаешь — я убил его! Но я не мог поступить иначе, я должен был стрелять...

Больше я ничего от Доне добиться не мог. Расспрашивавших трех других, также взволнованных и растерянных, офицеров и двух, прислуживавших в собрании солдат, я выяснил подробности только что разыгравшейся трагедии.

Как я уже говорил, дело происходило в субботу.

Большинство офицеров, по окончании занятий в эскадронах, разъехались из полка и в собрании обедали лишь дежурный по полку — корнет Доне и три молодых офицера, его товарищи по выпуску. Доне праздновал свой 21-й день рождения и хотел угостить товарищей шампанским. Но он забыл, что задолжал в собрание больше 200 рублей и был „лишен кредита”. По правилам собрания офицеры, задолжавшие больше двухсот рублей, могли только завтракать и обедать, но требовать вина не имели права. Рядовой 2-го эскадрона Мочалин, прикомандированный к собранию в качестве прислуги, исполнял обязанности уехавшего в отпуск вольнонаемного буфетчика. Исполняя распоряжение хозяина собрания, он отказал Доне в шампанском. Взбешенный отказом, корнет отправился в буфетную и приказал Мочалину немедленно подать ему бутылку шампанского. Мочалин снова отказался исполнить это приказание.

Ты знаешь, что солдат обязан выполнять всякое приказание офицера? — спросил его начинавший терять самообладание корнет.

— Так точно знаю, но этого вашего приказания я исполнить не могу!

— А ты знаешь, что по уставу я должен заставить тебя исполнить мое приказание, применив для этого оружие?

— Воля ваша, но я вам вина не подам.

Тогда Доне выхватил револьвер и, не прицеливаясь, выстрелил в буфетчика. Мочалин упал. Он был убит наповал: пуля пробила ему голову.

Я оказался старшим из находившихся в расположении полка офицеров. А так как я также исполнял обязанности полкового квартирмистра, то все здания в полку, в том числе и офицерское собрание, находились в моем ведении. Поэтому я должен был немедленно принять предусмотренные законом меры: закрыть на ключ и запечатать обе двери буфетной, где произошло убийство и где лежало тело несчастного Мочалина, а также известить высшее начальство.

Командир полка — князь В. А. Долгоруков (будущий гофмаршал и один из немногих придворных, доказавший на деле свою преданность убитому Государю, добровольно последовавший с царской семьей в Тобольск и расстрелянный вместе с ней в Екатеринбурге) — уехал

в Царское Село. Адрес его был известен только полковому адъютанту, который также уехал из Петергофа. Только через час я соединился по телефону со старшим полковником, проводившим вечер у своих знакомых. Выслушав мой доклад, он приказал мне сменить с дежурства и отправить домой впавшего в истерику Доне. А, когда, не менее меня взволнованный, полковник приехал в собрание, мы начали с ним разыскивать полкового адъютанта. К 12-ти часам ночи, соединяясь по телефону со всеми домами, в которых он мог быть в гостях, мы, наконец, нашли его и сообщили о происшествии. Адъютант, в свою очередь, тотчас же позвонил князю Долгорукову в Царское Село.

Бедный князь, очень мало служивший в строю и всю жизнь состоявший при дворе, плохо знал устав и совершенно растерялся. По совету старшего полковника, он послал телеграмму прокурору Петербургского военно-окружного суда, после чего, в третьем часу ночи, мы разошлись по домам. Несмотря на усталость, заснуть в эту ночь я не мог.

Рано утром на место происшествия прибыл военный следователь в сопровождении комендантского адъютанта. Допросив корнета Доне, следователь объявил его арестованным и отправил в Петербург, на гауптвахту. Началось тягостное для полка дело корнета Доне.

Никто из офицеров не оправдывал поступка Доне, который мы считали несчастьем, свалившимся не только на Доне, но также и на весь полк. За всю двухвековую историю полка это был первый случай убийства офицером солдата. Но, осуждая Доне, мы понимали, что он заслуживает не столько наказания, сколько сожаления. Только что покинувший школьную скамью юноша, почти мальчик, неправильно истолковал устав, действительно обязывавший офицера заставить нижнего чина исполнить отданное ему приказание, прибегнув даже к оружию. Но Доне не понимал, что устав говорит о приказаниях, имеющих отношение к службе и воинскому долгу. В неверном толковании устава была не столько ошибка Доне, как вина его эскадронного командира, ротмистра Ш., обязанного разъяснить своим младшим офицерам вынесенные ими из школы теоретические познания. Не меньшая вина падала на хозяина собрания — поручика Б., незаконно возложившего на нижнего чина обязанности

буфетчика. В результате такого распоряжения Б. — солдат Мочалин не исполнил приказания офицера и фактически нарушил дисциплину.

Но главная вина Доне заключалась в его молодости и неопытности. Задетое самолюбие, ложный стыд перед товарищами, которых он не мог угостить вином, — толкнули его на необдуманный шаг и сделали невольным убийцей. Невольным — ибо Доне выстрелил, не целясь, и убить Мочалина не хотел.

Дело корнета Доне получило широкую огласку. Левая общественность использовала его для очередных нападок на армию и, в особенности, на офицеров. Все петербургские газеты писали об убийстве офицером солдата, причем некоторые из них умышленно изображали это убийство в неверном и извращенном виде. Клеветать на армию в те времена не разрешалось, но денежные штрафы и другие кары не останавливали тех журналистов, которые преследовали известные цели.

Главнокомандующий гвардией — великий князь Николай Николаевич — не мог не вмешаться в дело корнета Доне, произвел личное расследование и пришел к совершенно правильным выводам. Предоставив судьбу Доне военно-окружному суду, великий князь обрушился на его начальство. Эскадронному командиру — ротмистру Ш. пришлось покинуть полк. Хозяин собрания — поручик Б. был также вскоре переведен из полка и старшему полковнику был объявлен выговор..

Через несколько дней состоялись похороны Мочалина. Жандармское управление известило командира полка, что эти похороны вероятно превратятся в политическую демонстрацию. Поэтому предлагалось похоронить убитого ночью, без всякой церемонии.

Но политические организации и полиция не знали, что командиром 2-го эскадрона был ротмистр Лев Михайлович Навроцкий, любимый солдатами „отец-командир”. Навроцкий категорически воспротивился предложению жандармов.

— Мочалин погиб, исполняя распоряжение своего начальника, — заявил Лев Михайлович командиру полка: его нельзя хоронить, как преступника, тайком и без участия его товарищей. Поэтому Мочалин будет похоронен, как честный солдат, и в могилу его проводят командир, офицеры и все солдаты эскадрона. Никаких де-

монстраций во время похорон не будет. Второй эскадрон их не допустит, как не допустит участия посторонних лиц в похоронах. Я за это ручаюсь и принимаю на себя полную ответственность.

Командир полка согласился с Навроцким, и, к удивлению полиции и гражданских властей, похороны Мочалина действительно прошли торжественно и без нарушения порядка.

Через два месяца в петербургском военно-окружном суде было назначено разбирательство дела корнета Доне, на котором и мне пришлось присутствовать. Дело слушалось при открытых дверях и места для публики были переполнены. Ввиду того значения, которое придавалось делу корнета Доне, председательствовал не военный судья, а председатель суда. А обвинение поддерживал не один из товарищей прокурора, как это обычно практиковалось, но сам прокурор. Судьями были назначены шесть старших офицеров строевых частей Петербургского военного округа.

На вопрос председателя, признает ли себя Доне виновным в убийстве Мочалина, совершенном в состоянии запальчивости и раздражения, обвиняемый ответил отрицательно, выразив сожаление, что вынужден был прибегнуть к оружию, чтобы заставить Мочалина исполнить его приказание.

Зашитники Доне — военный юрист и известный петербургский адвокат — построили защиту на толкованиях параграфов воинского устава, требовавших от начальника применения оружия, в случае отказа подчиненного исполнить отданное ему приказание. Основываясь на этих параграфах, защитники просили суд об оправдании Доне.

Прокурор в талантливой речи опроверг все доводы защиты, подробно остановившись на разборе и разъяснении устава.

— Мне жаль вас, корнет Доне, — закончил свою речь прокурор, обратившись к обвиняемому: ваше начальство аттестовало вас скромным и способным офицером. Перед вами была открыта блестящая карьера, от которой вы сами отказались, совершив тяжелое преступление, взволновавшее общественность и отразившееся на ваших сослуживцах. По долгу службы и по совести я обязан потребовать от ваших судей сурового осуждения

вашего преступления и справедливого за него возмездия. И я прошу вас, господа судьи, признать корнета Доне виновным в убийстве солдата Мочалина, совершенного в запальчивости и раздражении. Как меру наказания, я требую для Доне лишения воинского звания, всех прав состояния и четырех лет арестантских рот.

После томительного, как для обвиняемого, так и для публики, двухчасового совещания, суд вынес приговор, по которому Доне был оправдан в убийстве, но признан виновным в превышении власти и приговорен к двухмесячному аресту на гауптвахте и церковному покаянию.

Прокурор заявил, что он не может согласиться с таким приговором и обжалует его в Главный военный суд. Вероятно делу корнета Доне придавалось особое значение, ибо Главный военный суд уже через три дня вынес свое решение. Основываясь на материалах предварительного и судебного следствия, Главный суд, кассировав приговор военно-окружного суда, не нашел нужным назначить новое разбирательство и изменил приговор, признав Доне виновным в убийстве. Согласившись с мнением прокурора, суд приговорил корнета Доне к лишению всех прав состояния и четырем годам арестантских рот.

Этот суровый приговор буквально ошеломил нас. Мы признавали, что Доне виноват, что он мог, пользуясь властью дежурного офицера, арестовать Мочалина, но никак не стрелять в него. Однако, вместо такого простого выхода, Доне погорячился и, неправильно толкую устав, застрелил Мочалина. Нас поэтому не удивил бы строгий, но справедливый приговор — исключение Доне из военной службы, даже разжалование его в рядовые. Но приговор к арестантским ротам — был черезчур жесток. Он являлся моральным и физическим убийством еще не созревшего юноши.

Великий князь Николай Николаевич лично доложил Государю дело корнета Доне. Представляя Царю на утверждение приговор Главного военного суда, Николай Николаевич опять поступил, как строгий, но справедливый начальник. По его ходатайству Государь заменил Доне арестантские роты разжалованием в рядовые.

Я еще раз встретился с Доне на квартире его убитых горем родителей. Он был уже в форме рядового 3-го драгунского Новороссийского полка. Прощаясь с Доне,

мы передали ему образ „Всех святых”, которым благословили разжалованного товарища на новый и тяжелый жизненный путь.

К моему большому удивлению и облегчению, вернувшись в полк, я узнал, что новобранцы 3-го эскадрона также благословили Доне образом, который купили в складчину. Простые, неискушенные в политике, люди пожалели и простили бедного юношу, искупившего свой тяжкий грех перед Богом и людьми тяжелым для офицера наказанием.

37. КОЛОМЯГИ.

На четвертый год моей службы я был назначен полковым квартирмистром, т. е. заведующим всеми мастерскими, ремонтом казарм и начальником нестроевой команды. Должность эта, очень ответственная и требовавшая знания не только военно-административных, но и гражданских законов, совсем не подходила для молодого капрета, но великий князь Николай Николаевич требовал, чтобы все строевые офицеры по очереди исполняли одну из хозяйственных должностей, для изучения на практике полкового хозяйства.

Полковой квартирмистр, на обязанности которого лежал ремонт всех полковых зданий, не выступал с полком в лагеря и оставался в Петергофе начальником „оставшейся части”. В эту часть, кроме нестроевой команды, входил волуэскадрон для несения почетных караулов во дворце, в случае приема Государем иностранных коронованных особ и посланников.

Располагая свободным временем, я стал часто бывать на скачках.

Скаской сезон, к которому в Петербург приводили со всей России лучших чистокровных лошадей, начинался в конце мая и продолжался три месяца. Коломяжский ипподром императорского Царскосельского общества любителей конского спорта находился за Островами, в конце Каменоостровского проспекта, и на нем три раза в неделю происходили скачки. По воскресеньям в Коломягах можно было встретить все петербургское „высшее общество”: гвардейских офицеров, генералов, сановников, иностранных дипломатов, полковых и городских

дам.

Скачки были жокейские и джентльменские. На первых скакали жокеи — профессионалы, с юных лет тренировавшиеся в своей специальности. Многие из них были знаменитостями и богатыми людьми, зарабатывая в один сезон десятки тысяч рублей. Особой славой пользовались американец (негр) Винкфильд и поляк Гурецкий. На джентльменских скакали офицеры, из которых многие также были известны не только в России, но и за-границей. Таким известным спортсменом был мой товарищ по полку — ротмистр А. В. Ершов, имевший несколько императорских призов и выигравший в Лондоне международный стипль-чэз (барьерную скачку). Ему я и обязан тем, что пристрастился к этому благородному и увлекательному спорту.

Коломяжский ипподром состоял из большого скакового круга с дорожками для гладких и барьерных скачек. Посередине круга находились трибуны для публики и рядом с ними членский павильон для членов Царскосельского общества и их гостей. Действительными членами этого общества были владельцы больших скаковых конюшень, коннозаводчики, известные спортмены и почтенные старые кавалеристы. Попасть в число членов было не легко. Как действительные, так и члены-соревнователи подвергались закрытой баллотировке.

Большинство офицеров нашего полка были членами Царскосельского общества. Мне также очень хотелось быть таковым, но, чтобы записаться и иметь право баллотироваться, нужно было внести сто рублей, которых у меня не было.

Скачки нравились мне, как увлекательный спорт. Тотализатор не прельщал меня, как многих азартных игроков, не пропускавших ни одного скакового дня и приезжавших в Коломяги главным образом для игры. Я скромно сидел в трибунах для публики и не играл. Мой денщик Залога никогда не выдавал мне более трех рублей на поездку в Петербург, а билет в тотализаторе стоил десять. Через некоторое время я уже хорошо знал лошадей всех конюшень, и среди них у меня были любимцы, которыми я любовался на „падоке“ (небольшом кругу, где перед публикой проводили записанных на скачки лошадей). Лучшими конюшнями были Лазаревская и Манташева. Лазарев был старый любитель и боль-

шой знаток лошадей. Его конюшня издавна славилась лучшими скакунами, и жокеи считали особой для себя честью скакать на его лошадях. Миллионер Манташев таким знатоком не был. Конюшню он завел не столько из увлечения спортом, сколько из тщеславия, стремясь вырвать первенство от Лазарева и стать владельцем первой в России скаковой конюшни. Обладая огромными средствами, Манташев скупал в России и заграницей лучших лошадей, особенно тех, которые показали себя хорошими скакунами.

Среди моих любимцев был жеребец „Герберт”, принадлежавший Лазареву и выигравший несколько больших призов. К тому времени, когда я начал посещать скачки, Герберт скакал только на „гандикапах”, где лошади, в зависимости от предыдущих выигрышей, скакали с добавочным весом (металлическим грузом, присоединявшимся к седлу жокея). Однажды Герберт снова участвовал в „гандикапе” и нес очень большой добавочный вес — более 30 фунтов. Знатоки считали, что из-за такого веса он скачки не выиграет. „Держать пари”, т. е. играть в тотализаторе, можно было в ординаре, двойном или тройном. При игре в ординаре выигрывали, если облюбованная лошадь приходила первой, в двойном — если она приходила первой или второй, в тройном — если занимала первое, второе или третье место. Так как при игре в ординаре риск был больше, то и выигрыш был много больше, чем в двойном или в тройном. Размер выигрыша зависел от того, сколько билетов было поставлено на выигравшую лошадь. Если она была общим фаворитом, то выигрыш составлял всего 1 - 2 рубля. Но, если выигрывал „фукс” (лошадь, которая по мне нию игроков не имела шансов выиграть скачку), то выдачи тотализатора достигали нескольких сот и даже тысяч рублей.

Герберт, благодаря большому добавочному весу, который он нес, не был фаворитом, и в ординаре на него почти никто не играл. У меня в этот день было в кармане целое состояние — пятнадцать рублей, которые мне удалось выпросить у Залоги. Я решил рискнуть десятью рублями и впервые сыграть на Герберта. Перед самым закрытием кассы я взял билет в ординаре, вернулся на трибуны и с замиранием сердца стал следить за начавшейся скачкой. Мой Герберт шел очень хорошо, в середине группы

из шести лошадей. Скачка была двухверстная. В начале второй версты из группы скакунов выдвинулась какая-то шустрая молодая лошадка. Она шла впереди всех, и мне казалось, что придет первой. „Плакали мои десять рублей” — подумал я с сожалением. Но мне было не так жаль денег, как того, что мой любимец проиграет скачку. Когда лошади вышли уже на „прямую”, т. е. на последнюю полу-версту перед „финишем”, я с радостью заметил, что Герберт, легко обогнав остальных лошадей, приближается к первой. Оставалось всего сто саженей до „финиша”. Вот Герберт поравнялся с первой лошадью, вот они идут голова в голову, и, вдруг, Герберт выдвигается на пол-корпуса и выигрывает скачку. Я торжествовал. Но торжество мое перешло в ликование, когда на доске появилась цифра 800, означавшая, что эта милая лошадка выиграла мне 800 рублей.

Я тотчас-же отправился разыскивать Ершова, находившегося в членском павильоне, передал ему сто рублей и попросил его, как действительного члена скакового общества, рекомендовать меня в члены-соревнователи. По окончании скачек, я пригласил Ершова и других однополчан к „Эрнесту”, где мы отпраздновали мой выигрыш и выпили вина за здоровье моего любимца Герберта. Через неделю я получил билет члена-соревнователя и сидел уже в членской трибуне.

Публика членской трибуны состояла из представителей „высшего общества” — великосветских дам, сановников, дипломатов и генералов. Среди них часто появлялся начальник придворно-конюшенной части Министерства Двора — генерал-адъютант Грюнвальд. Это был типичный надутый остзейский немец, плохо говоривший по-русски, носивший фуражку прусского образца и презрительно относившийся к русским офицерам. В гвардии было принято, что каждый приходивший в собрание или другое место, где находились офицеры, обходил присутствовавших и здоровался с ними. Это делали как младшие офицеры, так и служившие в гвардии генералы. Грюнвальд, носивший форму гвардейского полка, считал ниже своего достоинства не только подавать руку офицерам, но даже отвечать на их приветствия. Он пользовался поэтому антипатией всего гвардейского корпуса. Однажды, когда Грюнвальд снова появился среди постоянных посетителей членской трибуны, офицеры решили

проучить зазнавшегося немца. Случай для этого представился действительно очень благоприятный. На одну из скачек была записана молодая, только что начинавшая свою скаковую карьеру, лошадь, называвшаяся „Грюнвальдом”. Лошадь эта не имела никаких шансов на выигрыш. Тем не менее все, находившиеся в членской трибуне, офицеры взяли на нее по билету в ординаре. Началась скачка. Генерал Грюнвальд сидел, как всегда, надутый, не обращая внимания на соседей. Лошадь „Грюнвальд” плелась в хвосте скачущих. Офицеры, вооружившись биноклями, наблюдали за скачкой.

— Этот негодяй „Грюнвальд” не выгребает! — раздался на всю трибуну голос улана Б.

— Скотина — „Грюнвальд”, — крикнул кто-то из его товарищей.

— Разве можно было играть на такую падаль, как „Грюнвальд”, — притворно возмущался третий.

И со всех сторон начали раздаваться еще более звучные эпитеты по адресу бедной лошади, имевшей несчастье быть тезкой надменного генерала.

Генерал Грюнвальд, весь красный от гнева, бросал уничтожающие взгляды на увлекшихся скачкой офицеров, но придраться к ним не мог. Сидевшие рядом с ним дамы и штатские переглядывались, улыбались и с трудом удерживались от смеха. Грюнвальд видел, что вся трибуна смеется над ним. Не дождавшись конца скачки, он вскочил со своего места и удалился. А проигравшиеся, но николько не жалевшие пригранных десяти рублей офицеры, перешли в ресторан, где распили за здоровье коня „Грюнвальда” несколько бутылок шампанского.

Самыми торжественными в Коломягах были дни разыгрыша двух главных призов — Императрицы и Невы. На приз Императрицы заранее (за год) записывались лучшие лошади больших скаковых конюшен. В этот день обе трибуны были переполнены элегантной публикой, а на „падоке” парадировали лучшие скаковые лошади России.

Приз Императрицы разыгрывался 22-го июля. В этот день я едва не стал богатым человеком, благодаря неожиданному „фуску”, выигравшему скачку. Общим фаворитом была конюшня Лазарева, две лошади которого участвовали в состязании. Конюшня Манташева была

представлена чудным рыжим жеребцом „Грымзой”. Но почему-то никто не считал его серьезным конкурентом Лазаревских коней. Лошади были уже на „падоке”. Перед кассами тотализатора толпились игроки. Я обошел кассы и увидел, что на „Грымзу” было поставлено всего лишь пять билетов в ординаре, и даже в тройном на него играли не более пятидесяти человек. Я считал, что в худшем случае „Грымза” займет третье место и взял билет в двойном. Но мне хотелось попытать счастья и сыграть на него и в ординаре. К моему несчастью, когда я протиснулся через толпу игроков к ординарной кассе, раздался звонок, и касса закрылась. Я поспешил на трибуну и стал смотреть на редкое зрелище борьбы лучших лошадей и лучших жокеев. Как и ожидалось, скачку провела одна из лошадей Лазарева, которая должна была „вымотать” остальных и, сделав свое дело, уступить первое место сберегавшей свои силы товарке по конюшне. Лошади уже заканчивали круг и выходили на прямую. Публика, особенно игроки, затаила дыхание. Вторая лошадь Лазарева стала обгонять всю группу и легко заняла первое место. Не было никакого сомнения в том, что она выиграет скачку. И вдруг — уже приближившаяся к „фишишу“ лошадь споткнулась и упала. Жокей, перевернувшись через голову, откатился в сторону. Вся трибуна ахнула, как один человек. А в голове скачущих показался красавец „Грымза“. Раздался звонок. Приз Императрицы выиграл „Грымза“. Трибуна гудела, как пчелиный рой, проигравшиеся рвали картонные билеты и топтали их ногами.

Не помню точно, но кажется, что немногие счастливцы, поставившие на „Грымзу“ в ординаре, выиграли по 2000 рублей. А я получил в двойном 400 рублей.

Грымза был второй лошадью, на которую я играл в тотализаторе. После этого выигрыша я стал регулярно играть и почти всегда выигрывал. Но я не следовал примеру азартных игроков, ставивших на каждую скачку. Я играл редко, выбирая лошадь, которая мне нравилась и имела шансы выиграть, но не была фаворитом.

Должен сознаться, что я жестоко обманывал моего казначея, которому после выигрыша отдавал „ховать“ только половину выигранных денег. Если бы Залога знал, что я стал тратить в Петербурге не „трюху“, которую он мне великодушно отпускал на расходы, а иногда

и по пятидесяти рублей, то никогда не простили бы мне такого мотовства.

В 1912 году я был командирован с лейб-эскадроном на Бородинское поле для участия в праздновании столетнего юбилея Отечественной войны.

Перед батареей Раевского состоялся парад, в котором участвовали по роте и эскадрону от всех полков, участвовавших в Бородинском бою. На параде присутствовала вся царская семья, иностранные принцы, делегации от иностранных армий, русские министры, члены Государственной Думы и депутаты от городов и земств.

Торжество это было действительно всенародным и прошло с большим подъемом и воодушевлением. Крестьяне окрестных сел встречали Государя с хлебом-солью и крестными ходами. Я видел такую встречу Царя в селе Бородине, где Государь посетил церковь и заходил в крестьянские дворы, беседуя с мужичками.

В 1913 году праздновался трехсотлетний юбилей дома Романовых. Как бывший камер-паж Императрицы, я получил приглашение на торжественный прием, состоявшийся в Петербурге, в давно уже не видавшем таких церемоний Зимнем дворце. На приеме опять присутствовал весь дипломатический корпус, много иностранных коронованных особ и принцев, министры, члены Думы и Государственного Совета и многочисленные, съехавшиеся со всей России, депутаты.

А 26-го января 1914 года в моей жизни произошло большое событие. Я изменил традициям „чукчей” и женился.

С моей будущей женой — Ольгой Владимировной Воилярлярской — я познакомился еще в 1912 году в доме ее тетки, Марии Федоровны Хрущевой, постоянно проживавшей в Петергофе. Ольга Владимировна была страстной любительницей верхового спорта, и я часто одолживал ей моего „Муфару”, сопровождая ее на верховых прогулках.

Как-то раз, осенью 1913 года, мы ехали с ней по Бабигонской дороге. Ольга Владимировна хотела поправить вуаль и потянулась к своей шляпе той рукой, в которой держала повод. Скаковые лошади не любят, когда им затягивают повод. Муфару, неоднократно участвовавший в скачках, закусил удила и понесся карьером. Хотя я и мог на моем Вестнике догнать Муфару, но по-

нял, что, почуяя приближающуюся к нему лошадь, выросший на скачках жеребец понесется еще быстрее. Поэтому я не решился его догонять и надеялся, что такая хорошая наездница, как Ольга Владимировна, сумеет остановить свою лошадь. На беду, дорога делала крутой поворот, а на самом повороте был мост через речку Бабигонку. Муфару, приняв перила моста за барьер, со всего хода перескочил через них и вместе со своей наездницей упал в речку. К счастью ни Ольга Владимировна, ни ее лошадь не поранились и отделались ссадинами и легкими ушибами. Больше всех пострадала амазонка наездницы, намокшая и в нескольких местах разорвавшаяся.

Я соскочил с Вестника и бросился к лежавшей в речке неосторожной наезднице. Мое испуганное и взволнованное лицо выдало чувства, которые я уже давно питал к милой барышне. Мы объяснились и вернулись на дачу М. Ф. Хрущевой женихом и невестой.

Моим посаженым отцом был добрый „дедушка“ Шепелев, который, вместе с мамой, благословил меня на счастливую супружескую жизнь. Очевидно, благословение этих двух дорогих мне людей и принесло с собой то счастье, которым я пользуюсь уже 40 лет и которое за это долгое время никогда и ничем не омрачалось...

38. ГЕНЕРАЛ ЛОПУХИН.

В конце июля 1914 года случилось то, к чему должен быть всегда готов каждый военный профессионал: была объявлена война с Германией и Австроией.

Кавалерия находится постоянно в боевой готовности, не пополняется запасными, и ее мобилизация проходит всего в два - три дня. К утру третьего дня мобилизации мы уже погрузились в воинский поезд, и еще через день полк наш высадился на станции Пильвишки, в тридцати верстах от германской границы.

Наша бригада получила задание выступить к пограничной реке Шешупе, занять переправы и выслать вглубь Восточной Пруссии офицерские разъезды.

За три месяца до войны князь В. А. Долгоруков был назначен гофмаршалом, и полк наш принял генерал-майор Дмитрий Александрович Лопухин, офицер генераль-

ного штаба, бывший Нижегородец и командир 9-го уланского Бугского полка.

В нашей армии было два типа командиров, горячо любимых своими подчиненными. Первым из них был „отец-командир”, постоянно заботившийся о своей части и требовавший от младших начальников такой же любви к солдатам и заботы о них. Тип отца-командира изображен Лермонтовым и Л. Н. Толстым в их бессмертных произведениях. Вторым типом — был „командир милостью Божией”, отмеченный свыше, как военачальник, к которому и старшие и младшие чины, непосредственно ему подчиненные и случайно оказывавшиеся в его подчинении, невольно проникались доверием и уважением. Отцы-командиры встречались в армии часто, командиры „милостью Божией” — довольно редко. Поэтому слава о каждом таком командире с молниеносной быстротой распространялась по армии, особенно среди солдат. Таким командиром, которого боготворили и которому слепо верили солдаты, уважали и гордились офицеры — был генерал Д. А. Лопухин.

Судьбе не было угодно, чтобы этот выдающийся кавалерийский начальник и блестящий офицер генерального штаба сделал карьеру и занял подобающее ему место среди высших начальников русской армии. Заслуги его были оценены слишком поздно, после того, как Лопухин заплатил жизнью за спасение от разгрома вверенного ему отряда. Но, если оценка высшего начальства опоздала, и Лопухин был только посмертно награжден редкими и высшими военными отличиями — орденами св. Георгия 3-й и 4-й степеней, то офицеры нашей дивизии и солдатская масса, среди которой имя генерала Лопухина стало легендарным, оценили его с первых дней войны и сохранили навсегда память об этом выдающемся полководце.

Командир нашей бригады — князь Белосельский-Белозерский — был назначен в распоряжение командующего первой армии, и Лопухин совмещал должность командира полка с командованием бригадой. Поэтому штаб полка был расширен. В его состав, кроме двух полковников и полкового адъютанта, входил еще офицер, исполнявший обязанности начальника штаба бригады. Должность эту генерал Лопухин возложил на меня, и я исполнял ее до самой смерти Д. А.

На первом же биваке, когда мы сидели за походным ужином, в штаб явился наш полковой священник — отец Виктор Малаховский.

— Здесь у вас, может быть, и опаснее, но, как говорится, на миру и смерть красна, — обратился отец Виктор к командиру, — в обозе мне еще страшнее. Я не сплю по ночам, все ожидаю, что немцы нападут. Разрешите, ваше превосходительство, при вас оставаться?

Генерал разрешил, и с тех пор отец Виктор, выделявшийся от офицеров своей, сшитой из солдатского сукна, рясой и войлочной скуфейкой, постоянно следил за штабом, восседая на обозной кляче и прижимая к груди закоптелый чайник, с которым он никогда не расставался.

Отец Виктор говорил, что он человек мирный и боится опасностей войны. Каждую минуту он ожидал нападения неприятеля, и каждый орудийный выстрел заставлял его вздрогивать. По ночам он почти не спал, кипятил свой чайник, попивал чаек и прислушивался — не начинается ли перестрелка на передовой линии.

Но если бы все трусы походили на отца Виктора, то в нашей армии никогда не было бы ни преждевременно очищенных позиций, ни брошенных обозов. Отец Малаховский боялся только до тех пор, пока не было настоящей опасности, а когда таковая наступала, он забывал свой страх. Я видел отца Виктора под Каушеном, под Петроковом и в Августовских лесах. В Каушене он поспевал всюду, где тяжело раненые и умирающие нуждались в утешении и последнем напутствии. Не обращая внимания на неприятельский огонь, он перевязывал раненых, приобщал умирающих и закрывал глаза убитым. Под Петроковым, накануне предстоящего сражения, отец Виктор всю ночь молился и исповедывал желающих, а в Августовских лесах, когда полк блуждал по просекам, стараясь прорваться через неприятеля, он спокойно отпевал и хоронил убитых.

Заняв без боя пограничный немецкий город Ширвинт, дивизия наша вошла в состав кавалерийского корпуса Хана Нахичеванского, и 6-го августа, образуя левую колонну корпуса, продвигалась вглубь Восточной Пруссии.

В начале десятого часа солнечного и жаркого утра, дивизия, длинной походной колонной, свернула на се-

вер от Гумбинненского шоссе. Слева раздавались отдаленные орудийные выстрелы.

В авангарде шли два эскадрона улан, под начальством полковника Арсеньева. Наш полк был в голове, и при нас находились начальник дивизии, генерал Раух и начальник штаба — полковник А. П. Богаевский.

Около одиннадцати часов колонна остановилась. Со стороны авангарда доносилась оживленная перестрелка. Мы уже привыкли к тому, что от самого Ширвinta наше движение по несколько раз в день задерживалось отрядами ландштурмистов. Каждый раз, после короткой перестрелки, авангард выбивал ландштурмистов из засады, и дивизия двигалась дальше.

Но на этот раз дело приняло другой оборот. К винтовочным выстрелам присоединилось тявканье пулеметов, и прискакавший от Арсеньева ординарец доложил Рауху, что у входа в деревню Каушен авангард столкнулся с батальоном противника. Арсеньев просил подкрепления.

— Генерал Лопухин, — занервничал Раух, — скорее пошли вперед два эскадрона Конногренадер.

5-й и 6-й эскадроны нашего полка пошли галопом на поддержку улан. Только что они тронулись с места, как со стороны неприятеля бухнули два орудийных выстрела, и два белых облака шрапнельных разрывов показались над столбом пыли, поднятым скачущими лошадьми.

Раух со штабом ускакал к хвосту колонны, а генерал Лопухин, пришпорив коня, вынесся на возвышенность, с которой был хорошо виден разыгравшийся у подступов к Каушену бой.

Сражение разгоралось. Немцы стреляли уже из четырех орудий, и соломенные крыши сараев, за которыми укрывались коноводы спешенных эскадронов авангарда, загорались одна за другой. Испуганные необстрелянными еще лошади вырывались из рук солдат и носились по полю.

Лопухин решил ввести в бой всю свою бригаду. Не дожидаясь приказаний уехавшего в тыл Рауха, он приказал остальным эскадронам спешиться и наступать на Каушен. В это время, правее нас, затрещали отдельные выстрелы. Оказалось, что шедшая рядом с нами 1-я дивизия также вступила в бой у северо-восточной окраины Каушена.

— Поедемте вперед, — обратился Лопухин к своему штабу.

Сопровождаемые штаб-трубачем и ординарцами, мы поскакали к нашим цепям, спустившимся уже в овраг, лежавший между деревнями Опельнишken и Каушен.

Вскоре мы свернули на шоссе и попали под сильнейший обстрел. Один из ординарцев был ранен в ногу, под другим пала убитая лошадь.

Взглянув случайно на находившееся рядом с шоссе картофельное поле, я увидел, что оно буквально дымилось от града немецких пуль, перелетавших через наши головы. Мы полевым галопом пронеслись через поражаемое пространство и быстро достигли укрытия — первого дома деревни Каушен, за которым и спешились.

Вскоре к этому дому стали съезжаться командиры и штаб-офицеры других, втянувшихся в бой, полков. Выяснилось, что, кроме нашей бригады, в деле принимают участие несколько эскадронов Кавалергардского и л.-гв. Конного полков. Общего руководства этими частями не было, и каждый из командиров распоряжался самостоятельно.

Командиры Кавалергардского и Конного полков — генералы князь Долгоруков и Скоропадский — подъехали к Лопухину и стали говорить о необходимости начать отступление, так как немцы значительно превосходят числом стрелков наши слабые эскадроны.

— Я еще не убедился в превосходстве немцев и отступать не намерен, — ответил им Лопухин.

Перестрелка усилилась. Мимо нас замелькали одиночные фигуры пробирающихся в тыл кавалеристов. Вскоре к одиночным людям присоединились целые цепи, во главе которых довольно поспешно отходил полковник уланского полка Маслов.

— Кто приказал вам отступать? — крикнул ему Лопухин, — сию же минуту возвращайтесь на фронт!

Но Маслов, сделав вид, что не рассышал Лопухина, продолжал отступать, подпираемый расстроенной толпой солдат.

— Вы слышите, полковник, что я вам приказываю? — закричал возмущенный Лопухин.

И видя, что его слова не производят впечатления, он вытащил из кобуры „Наган” и крикнул ординарцам:

— Шашки вон, остановите этих паникёров!

Маслов приостановился.

— Ваше превосходительство, — обратился он к Лопухину, вытянувшись и приложив руку к козырьку, — мои солдаты не паникёры, а исполняют мой приказ об отступлении.

— Молчать, — заревел взбешенный Лопухин. — Вы с ума сошли, полковник? Я — ваш бригадный командир — приказываю вам привести в порядок ваших солдат и вернуться на позицию. Не рассуждать! Еще одно слово — и я вас на месте пристрелю из этого „Нагана”!

Маслов побледнел и, чувствуя, что Лопухин действительно способен его пристрелить, остановил своих солдат, на которых энергичный приказ командира бригады тотчас-же оказал магическое действие. Они отнюдь не были трусами, но, попав неожиданно под губительный вражеский огонь, растерялись и бросились искать какого-либо прикрытия.

Оба генерала — Долгоруков и Скоропадский — молча наблюдали за разыгравшимся инцидентом, а Маслов поглядывал на них, ожидая, что они вступятся за него и осадят „зазнавшегося” Лопухина.

Генерал Лопухин был единственным командиром гвардейского полка, не служившим раньше в гвардии. Поэтому старшие гвардейские офицеры относились к нему с некоторым пренебрежением, считая его „выслушившимся армейцем”. Вот почему Маслов, обиженный резкостью Лопухина, искал сочувствия у двух „коренных гвардейцев” — Долгорукова и Скоропадского. Но в этот решающий момент даже старшие по службе генералы как-то сразу признали за Лопухиным право командовать и, увлеченные его примером, прекратили разговоры об отступлении и разъехались по своим частям, не обращая никакого внимания на сконфуженного Маслова.

— Разыщите начальника дивизии, — приказал мне Лопухин, — и передайте ему, что против нас несколько немецких батальонов. Их можно выбить из Каушена, но для этого надо ввести в бой вторую бригаду и обе батареи.

Я поехал разыскивать Рауха, стараясь как можно скорее проскочить через сильно обстреливавшееся картофельное поле. Мне удалось уже благополучно его миновать, как вдруг я почувствовал, будто что-то обожгло меня над правым виском. Дотронувшись рукой до обож-

женого места, я увидел на пальцах кровь и понял, что ранен. Однако никакой боли я не чувствовал. Убедившись в том, что голова моя цела и что больше всего пострадала моя фуражка, из которой был вырван порядочный кусок материи, я продолжал свой путь. В трех verstах от Каушена я увидел стоявшие в резерве полки второй бригады, возле которых находился штаб дивизии.

— Что с вами? Вы ранены? — спросил меня Раух, выслушав донесение и просьбу Лопухина.

— Немного оцарапан, ваше превосходительство, — отвечал я, утирая платком обильно струившуюся кровь.

— Ну, так передайте генералу Лопухину, что я не нахожу нужным втягивать в бой вторую бригаду и приказываю прекратить бой и отходить.

Я отдал честь Рауху, пришпорил коня и поскакал на позицию.

Сознаюсь, что мне было очень неприятно думать о новой переправе через проклятое картофельное поле. По дороге я окончательно убедился, что попавшая мне в голову пуля только скользнула по черепу, не пробив кости. Однако весь мой носовой платок был пропитан кровью, и нужно было заехать на перевязочный пункт и наложить повязку. Поздравив себя с таким удачным ранением, я собрался с духом и быстро проскочил картофельное поле, которое на этот раз обстреливалось гораздо слабее.

Лопухина я нашел уже в полуверсте от первого Каушенского дома, близ второго оврага, разделявшего деревню на две части. Он энергично распоряжался, как своими, так и не подчиненными ему полками, офицеры которых охотно исполняли все его приказания, увлеченные его энергией и хладнокровием. За мое отсутствие цепи наши значительно продвинулись вперед.

Я передал командиру приказание начальника дивизии. Как я и ожидал, Лопухин не хотел и слышать об отступлении.

— Немцы уже дрогнули. Видите — мы заняли первую их позицию, — и он указал на трупы немецких солдат, лежавшие по обе стороны шоссе. — Кирпичев (командир конной батареи) удачно обстрелял их резервы. Сейчас мы их сбьем со второй позиции, и бой будет выигран. Рауху я послал с Поповым (полковым адъютантом) второе донесение, и нервы его успокоятся. Но, на

всякий случай, запомните: вы меня еще не нашли и приказания Рауха не передали. Понимаете?

Я молча приложил руку к козырьку.

Место, на котором мы находились, было усеяно нашими и немецкими трупами. Я увидел среди них тело командира 5-го эскадрона улан — барона Каульбарса. Рядом с ним грузно осел в канаву, судорожно сжимая в одервяневших руках бинокль, толстый немецкий капитан. А вокруг своих начальников лежали десятки трупов солдат.

— Ваше высокоблагородие, — услышал я за собой шепот штаб-трубача Букарева, — только что убили корнета Лопухина. Приготовьте генерала. (Сын Лопухина был младшим офицером 6-го эскадрона).

Но мне не пришлось выполнить эту тяжелую обязанность: Лопухин сам нечаянно обнаружил труп своего сына...

Прямо впереди нас был участок 6-го эскадрона нашего полка, понесшего самые большие потери. В нескольких шагах от шоссе лежал тяжело раненый командир эскадрона ротмистр Крамарев. Лопухин подъехал к нему, сказал несколько подбадривающих слов и вдруг увидел безжизненное тело своего сына.

— Трубач, возьми коня, — спокойным голосом обратился он к своему вестовому.

Спешившись, Лопухин подошел к убитому юноше, снял с себя фуражку, перекрестился, перекрестил и поцеловал сына и таким же спокойным и лишь немногого охрипшим голосом приказал подать себе коня. Ни один мускул не дрогнул на лице генерала, а между тем убитый был его единственным и горячо любимым сыном...

Мы молча двинулись вперед.

Лопухин, как будто ничего не случилось, продолжал спокойно отдавать приказания, подбадривал раненых и возвращал на позицию уходивших под разными предлогами в тыл „потерявших сердце“ людей.

Наша батарея снова стала бить по неприятельской, которая вскоре окончательно замолкла.

Но вот на правом фланге, перед фронтом этой батареи что-то зашевелилось. Раздались крики прекратить огонь, и эскадрон конногвардейцев понесся на вражеские орудия. Со всех сторон на присоединение к нему поскакали одиночные всадники — офицеры других полков,

жаждавшие принять участие в этой лихой атаке. Но эскадрону этому не суждено было овладеть неприятельскими пушками. Всего лишь 200 шагов оставалось ему проскакать до них, как вдруг блеснули две молнии, и атакующая масса превратилась в какую-то кашу, в которой перемешались окровавленные кони и всадники. Двое, уцелевших от нашего убийственного огня, немцев-наводчиков бросились к своим орудиям и в упор дали по атакующим два выстрела „на картечь”.

В тот же момент показался второй эскадрон, как ураган налетевший на батарею, и захватил эти пушки, которые нанесли нам такие ужасные потери. Это был эскадрон барона Врангеля.

Бой стал стихать. Со всех сторон доносились стоны раненых. Перед взятой батареей лежали десятки изуродованных трупов офицеров и солдат, еще так недавно мечтавших о заветных „беленьких” (георгиевских) крестиках и вместо них заслуживших другие — деревянные.

К семи часам вечера бой окончательно замер. Атака конногвардейцев была предпоследним его эпизодом. По настоянию Лопухина, Раух ввел в бой вторую бригаду, после чего немцы, прикрываясь огнем двух свежих батарей, стали поспешно отходить на запад. Как и предсказывал Лопухин, мы выиграли сражение.

39. ПЕТРОКОВ

Хотя мое ранение и казались мне легкими и не нуждавшемся в лечении, но через день обнаружились признаки контузии всей правой стороны головы и внутреннего кровоизлияния. Кроме того, оказалось, что пулей был задет лицевой нерв. Начались головные боли, приступы рвоты, и, по настоянию нашего полкового врача, генерал Лопухин приказал мне ехать лечиться. Пробыв в Виленском лазарете Красного Креста шесть недель, я вернулся в полк и был командирован привести „маршевый эскадрон” — пополнение, в котором полк очень нуждался.

В это время полк был переброшен с северо-западного фронта в Радом, в стратегический резерв Верховного Главнокомандующего, и я получил приказание привести маршевый эскадрон в Радом, через Ивангород.

Под Ивангородом только-что закончилась успешная для нас операция, в результате которой две австрийских армии были разгромлены, потеряв половину своей артиллерии и более ста тысяч пленных. Железная дорога в сторону Радома была повреждена, и мне пришлось вести эскадрон походным порядком. Дорога проходила Козеницкими лесами, в которых и произошел разгром австрийцев. Лес был изуродован происходившими в нем боями. Много деревьев было выкорчевано артиллерийскими снарядами, другие стояли со срезанными вершинами.

По проходившему по лесу шоссе все время встречались колонны пленных, которых конвоировали один-два ополченца. Эти конвойные напоминали деревенских пастухов, гнавших стадо. Вместо винтовок они были вооружены палками или прутьями, которыми и наводили порядок среди пленных. Но пленных австрийцев и не нужно было охранять. Большинство из них были славяне — чехи, словаки и русины, радовавшиеся, что попали в плен к русским, и что для них война кончена. Они весело приветствовали нас криками „наздар” и „день добрый, пане” и нисколько не напоминали виденных мною в Восточной Пруссии немецких пленных.

На второй день я привел эскадрон в Радом. Город был недавно освобожден от немцев, отступивших после поражения австрийцев к Krakowu. Сдав эскадрон, я снова поступил в распоряжение генерала Лопухина, исполняя обязанности бригадного адъютанта.

На всем фронте происходили ожесточенные бои.

Первая русская армия генерала Ренненкампфа получила задание перейти в наступление по левому берегу Вислы на фронте Плоцк—Кутно, а вторая армия генерала Штедемана — атаковать немецкую армейскую группу в районе Лодзи. Операции эти должны были облегчить пятую армию генерала Плеве, прорвавшую австрийский фронт и подходившую к Krakowu.

Бои протекали с переменным успехом. Одно время казалось уже, что 2-я немецкая армия окружена нами. Конница генерала Новикова прорвалаась в тыл противника и разгромила его обозы, а Нижегородский драгунский полк захватил с налета немецкую гаубичную батарею. Однако, неприятель, сосредоточив против 1-й армии большие силы, остановил наступление Реннекампфа,

а нерешительность начальника 2-й Сибирской дивизии генерала Геннингса позволила германской гвардейской дивизии Лицмана вырваться из окружения, в которое она попала под Лодзю. (В память этого прорыва генерала Лицмана немцы в 1939 году переименовали Лодзь в Лицманштадт).

Обстановка сложилась так, что между левым флангом второй и правым флангом пятой армий, в районе Петрокова, образовался прорыв, в который немцы направили корпус генерала Войрша, состоявший из одной германской и одной австрийской дивизий. Движение Войрша угрожало тылам обеих русских армий и могло привести к катастрофе, подобной Танненбергской.

Поэтому русское верховное командование бросило в этот прорыв все имевшиеся в его распоряжении резервы: 1-ю и 2-ю гвардейские кавалерийские дивизии. Туда же был направлен с Юго-Западного фронта 3-й Кавказский корпус генерала Ирмана.

Корпус Ирмана мог подойти к Петрокову не ранее 25-го ноября, а гвардейская кавалерия, находившаяся в Радоме, к 18-му ноября.

Поэтому Верховным Главнокомандующим была дана следующая директива обеим гвардейским кавалерийским дивизиям: „во что-бы-то ни стало удерживать Петроков и железную дорогу Петроков — Колюшки до подхода генерала Ирмана”.

Задача эта была трудной и непосильной для двух кавалерийских дивизий (40 эскадронов при 24 орудиях), понесших в предыдущих боях большие потери. Спешенные эскадроны не могли дать более 60 стрелков, т. е. обе дивизии — всего 2400 штыков, что соответствовало силе трех пехотных батальонов. А в корпусе Войрша было 18 батальонов и 84 орудия.

Начальство над Петроковским отрядом принял старший из начальников дивизий — генерал Гилленшmidt.

Наша дивизия пришла в Петроков 18-го ноября. На следующий день у Гилленшmidta состоялось совещание командиров, после которого три полка, под начальством генерала Лопухина, выступили из Петрокова на Белхатов. В районе Белхатова находилась Уральская казачья дивизия генерала Кауфмана-Туркестанского, которая отходила на Петроков под сильным давлением противника. Лопухину было приказано соединиться с уральцами и

вместе с ними обороныть подступы к Петрокову.

Утром, 20го ноября, три полка генерала Лопухина подошли к Белхатову, уже занятому противником.

Уральцы, вместо того, чтобы отходить на Петроков, отошли на Лодзь, и Лопухину предстояло одному выдержать натиск авангарда Войрша (9 батальонов при 36 орудиях, т. е. 7500 штыков). У Лопухина же было 18 эскадронов (1100 штыков) и 6 орудий.

Лопухин занял своим отрядом позицию по обеим сторонам шоссе Петроков — Белхатов. Позиция эта имела тот недостаток, что впереди нее находился молодой сосновый лес, в котором противник мог незаметно накапливаться. Но расположение в лесу для кавалерии было опасно, а другой, более удобной, позиции вблизи не было. Поэтому Лопухин решил остаться на выбранной им позиции, оборона которой была усиlena шестью придаными лейб-драгунскому полку пулеметами.

Утро прошло спокойно, но в первом часу дня разведка донесла, что цепи противника вышли из Белхатова и продвигаются по обеим сторонам шоссе. Предстоял тяжелый оборонительный бой.

В начале третьего часа на нашем правом фланге завязалась перестрелка. Как мы и предполагали, немцы начали накапливаться в лесу, но пока еще из него не выходили.

Короткий ноябрьский день клонился к вечеру. И перед самым наступлением сумерек из лесу показались густые цепи противника, без выстрелов и перебежек приближавшиеся к нашей позиции. Немцы, вероятно, знали, что перед ними находится не пехота, а спешенная кавалерия, почему шли совершенно открыто. Одновременно их батарея открыла с самой близкой дистанции огонь, обстреливая нас шрапнелью и гранатами.

Оставив меня с двумя ординарцами на шоссе, где, в придорожной канаве, находился штаб отряда, Лопухин сел на коня и с двумя офицерами — ординарцами — штабс-ротмистром Коллониусом и поручиком Лаймингом, штаб-трубачем и остальными ординарцами поехал к лейб-драгунам, на правый фланг, за который он особенно беспокоился.

Прошло минут десять. Вдруг с правого фланга послышалась сильная пулеметная стрельба. Драгунские пулеметы открыли огонь, но немцы их вскоре обнаружили

и засыпали гранатами. Я мог видеть в бинокль, как драгуны начали отступать. В этот момент на поддержку отступающих бросилась конная группа в 70 - 80 всадников. Несколько гранат разорвалось около этой группы. Я видел, как падали убитые кони и всадники.

Началась беспорядочная винтовочная стрельба, но отступившие драгуны, поддержаные конной атакой, перешли в контрнаступление и на некоторое время задержали немцев.

Как я узнал потом, пулеметная команда драгунского полка, попавшая под ураганный огонь противника, понесла большие потери. Все попытки вынести из-под огня пулеметы оказались тщетными, и их пришлось оставить на позиции. Тогда генерал Лопухин, посадив на коней находившийся в резерве 2-й эскадрон нашего полка, бросился во главе его на выручку пулеметов.

Пулеметы были спасены, но какой дорогой ценой!

Генерал Лопухин был смертельно ранен, его ординарец штабс-ротмистр Коллониус — убит, командир 2-го эскадрона ротмистр Петржкевич — смертельно ранен, а его младший офицер корнет Окунев — убит. Коню второго ординарца поручика Лайминга гранатой оторвало голову, из остальных ординарцев двое были ранены. В эскадроне ротмистра Петржкевича девять солдат были убиты и около двадцати — ранены.

Захватив с собой пулеметы и подобрав всех раненых, наши цепи стали отходить. Я сел на коня и, не зная еще о ранении Лопухина, поехал его разыскивать. Уже темнело. Путь нашего отступления сильно обстреливался. Проехав сотню шагов, я встретил поручика Лайминга и трех ординарцев, несших на бурке раненого Лопухина. Зная, что в полуверсте от позиции, около мельницы, находится штабной автомобиль, я приказал нести раненого к машине.

В этот момент пуля прострелила мне ногу. Не чувствуя большой боли, я, прихрамывая, присоединился к печальной процессии. Вскоре мы добрались до мельницы, положили стонавшего Лопухина в машину, посадили рядом с ним тяжело раненного Петржкевича и поехали в Петроков. На станции Петроков стоял под парами готовый к отходу поезд. В него были посанены генерал Лопухин и все тяжело раненые.

При прощании, Лопухин, который невыносимо стра-

дал (у него были прострелены печень и мочевой пузырь) перекрестил меня. Я его видел в последний раз. На следующий день он скончался в одном из варшавских госпиталей. А через три дня умер и ротмистр Петржкевич.

Проводив раненых, я перевязал в отряде Красного Креста свою легкую рану и, поклонившись в часовне госпиталя убитым товарищам (за исключением корнета Окунева, тело которого в темноте не удалось найти, все раненые и убитые были подобраны и отвезены в Петроков), вместе с поручиком Лаймингом, вернулся в полк, который занял позицию в шести верстах впереди Петрокова. Эта позиция была последней, на которой мы, согласно приказу Ставки, должны были держаться до подхода 3-го Кавказского корпуса.

Настроение в полку, потерявшем своего любимого начальника и одного из лучших эскадронных командиров, было подавленное. И офицеры и солдаты понимали, что с нашими слабыми силами невозможно будет долго удерживать во много раз сильнейшего противника. Но все знали также, что дальше отступать нельзя и что мы должны до последнего патрона оборонять Петроков и не смеем отдать его немцам.

Никто не спал в полку в эту памятную ночь с 20-го на 21-е ноября. Полковой священник отец Малаховский поставил в углу халупы аналой, прилепил к нему восковую свечку, надел епитрахиль и приступил к исповеди желающих. Солдаты вынимали из переметных сум чистые рубахи и переодевались.

Наступило утро 21-го ноября. Проглотив по кружке горячего чая, офицеры разошлись по местам. Ожидалось, что с минуты на минуту немцы откроют огонь и перейдут в наступление. Но проходили часы, а немцы молчали.

В 12 часов дня разведчики донесли, что неприятель, остановившись на нашей вчерашней позиции, начал на ней укрепляться. Действительно, с передовой линии можно было наблюдать в бинокль лихорадочно возводимые немцами укрепления.

Настроение у людей поднялось. Каждый понимал, что опасность миновала и что немцы, не использовавшие своего численного превосходства, останутся теперь пассивными. На фронте наступило затишье. А через три дня нас сменили стрелки 3-го Кавказского корпуса.

После Петрокова, наш полк был отведен на отдых

в район Келец, где и простоял до начала 1915 года. Всю остальную часть зимы и весну 1915 года мы провели в Сувалкской и Ковенской губерниях, в районе Олита — Прены — Серее. После смерти генерала Лопухина, командиром нашего полка был назначен генерал Дабич, бывший улан Его Величества и командир 14-го гусарского Митавского полка.

Генерал Дабич был очень милым и деликатным начальником, но заменить покойного Лопухина он не мог. Он не был трусом, спокойно и хладнокровно держался под огнем противника, но панически боялся начальства, особенно начальника дивизии, генерала И. Е. Эрдели.

Также, как и при Лопухине, я часто исполнял штабные обязанности, и с февраля по май был начальником штаба отряда, которым командовал Дабич. В состав отряда, кроме нашего полка, входили два батальона сибирских стрелков и батарея. Задачи, возлагавшиеся на отряд, были не сложны и заключались в ближайшей разведке противника и охранении фланга одного из сибирских корпусов.

В отличие от Лопухина, часто не соглашавшегося с начальством и проявлявшего собственную инициативу, Дабич беспрекословно исполнял всякое приказание, даже, если оно не соответствовало сложившейся на фронте отряда обстановке.

— Что делать, — говорил он в таких случаях, — раз приказано — надо умирать...

И только каким-то чудом мы несколько раз выходили из вызванных совершенно бессмысленными маневрами опасных положений.

Штаб бригады был расположен в литовской халупе, в одной комнате, в которой стояли три походных кровати — Дабича, мои и исполнявшего обязанности адъютанта поручика Г. П. Лайминга. Каждый вечер в этой халупе разыгрывалась одна и та же комическая сцена. Мы с Лаймингом ложились на койки и притворялись спящими. Дабич, не раздеваясь и не снимая амуниции, ходил по халупе и взыхал.

— Штабс-ротмистр, вы спите? — обращался он ко мне.

— Сплю, ваше превосходительство.

Походив еще немного, он спрашивал Лайминга:

— А вы, поручик, тоже спите?

— Так точно, сплю, ваше превосходительство.

— Вот всегда так, — вздыхал и разговаривал сам с собой Дабич: — они спят, а я должен один бодрствовать!

Через некоторое время он снова обращался ко мне:

— Хотите стакан красного вина, штабс-ротмистр?

— С удовольствием, ваше превосходительство.

— Бабич, — кричал тогда обрадованный генерал, — принеси две бутылки вина. (Дабич очень любил красное вино, и у его денщика Бабича всегда хранилось несколько бутылок „Карданаха”, продававшегося в полевом отделении Гвардейского Экономического общества).

Лайминг и я быстро вскакивали с коек и коротали с генералом несколько часов, пока в бутылках было вино. Но как только бутылки осушались, мы снова ложились и засыпали под вздохи и бормотания обиженного на нас генерала. А бодрствовал Дабич совсем не из-за боязни ночного нападения немцев, а опасаясь внезапного посещения штаба генералом Эрдели.

В конце июня началось общее наступление австро-германцев по всему фронту. Наши армии, которых это наступление застало почти безоружными (в батареях было всего по несколько снарядов на орудие, а в пехоте почти не было патронов), быстро откатывались на восток.

В начале июля наша дивизия была переброшена под Владимир Волынский и вошла в состав 13-й армии генерала Горбатовского. 8-го июля под Заболотцами кавалерия сдерживала обошедшего армию генерала Радко Дмитриева противника. В двухдневном бою мы понесли большие потери, но, с помощью подоспевшей пехоты, отбили зарвавшихся австрийцев. В этом бою я был контужен разрывом тяжелого снаряда. С парализованной левой стороной тела, я был эвакуирован в Царскосельский госпиталь и, после врачебной комиссии, причислившей меня ко 2-му классу раненых, отправлен для климатического лечения в Гагры.

40. СУМБУР - ПАША

Гагры — один из живописнейших уголков Черноморского побережья. А в 1915 году это был самый благоустроенный русский курорт.

Русская публика — туристы и нуждавшиеся в климатическом лечении больные — познакомилась с этим прекрасным курортом только во время войны, когда дорога на Французскую Ривьеру была для них закрыта. Но каждый, кто приезжал в Гагры, очаровывался ими и оставался навсегда горячим патриотом этого райского угла.

Так как я с трудом передвигался, то моя жена — сестра милосердия Ковенской общине Красного Креста — получила разрешение сопровождать меня. В середине декабря мы выехали из занесенного снегом Петрограда, и всю дорогу, до самого Ростова, нас сопровождала снежная пурга. На третий день, утром, поезд наш подходил к Туапсе. Яркое солнце, такое живительное и приятное после снежной бури, освещало долину реки, по которой извивалось железнодорожное полотно. Теплый ветерок врывался в опущенное окно купе, и мы наслаждались настоящим весенним утром. Вскоре показалась ярко-синяя полоса Черного моря и белые нарядные дюмики расположенного на уступах гор Туапсе.

На вокзале нас ожидал санитарный автомобиль, на котором нам предстояло проехать двести верст по Чёрноморскому „Голодному“ шоссе. Это шоссе было проведено в 1891 - 92 г.г. военным инженером генералом Анненковым, строителем Туркестанской железной дороги. Построено оно было по приказанию императора Александра Третьего, для предоставления заработков голодающему населению Поволжья, почему его и прозвали „Голодным“. Начиналось оно в Новороссийске и проходило по всему побережью Черного моря до Сухума, откуда впоследствии было продолжено до Новых Сенак (в Грузии). Проведение такого грандиозного по тем временам строительства было встречено с недоверием. Сkeptики предсказывали, что трасса шоссе — по самому берегу моря — проведена неосторожно, что отвесные берега будут обваливаться, а полотно шоссе — подмываться подземными водами и стекающими с гор ручьями. Но, несмотря на все эти предсказания, Анненков спрavился с трудной задачей: шоссе было построено и существует до настоящего времени. В некоторых местах оно проложено в высеченной в горах выемке, в других — по парапету отвесно спускающихся к морю скал. С заморанием сердца мы смотрели, как наша машина мчалась по

крутым виражам, над обрывами и пропастями. И всю дорогу мы могли любоваться прекрасным, ярко-синим Черным морем.

Подъезжая к Сочи, мы заметили, что ландшафт и природа меняются. Вместо голых скал, покрытых низкорослыми грабами и кустарниками, появились изумрудные горы, могучие чинары, дубы, каштаны и высокие красноствольные сосны. А вдоль шоссе замелькали вечно-зеленые магнолии, пальмы и маленькие мандариновые деревца. Сочи не произвело на меня тогда большого впечатления. Мы проехали по пыльным улицам, оставив в стороне обсаженные пальмами бульвары и парки. В Гагры мы приехали уже поздно вечером, в темноте, и также не заметили окружающий курорт парк. Зато, как мы были восхищены, когда на следующее утро вышли на балкон нашего номера и увидали переливающееся на солнце море, подошедшие к нему вплотную снежные горы и раскинувшийся вокруг гостиницы парк, с высокими пальмами, бамбуковыми зарослями и выкинувшими свои первые ярко-зеленые продолговатые листья бананами. С трудом верилось, что мы не в Италии, не на Французской Ривьере и не на Средиземном, а на берегах своего, русского, Черного моря.

Раненые офицеры были помещены не в госпитале, а в самой лучшей — Временной — гостинице. Я получил большой номер, с альковом, ванной и выходившим на море балконом. Сидя на этом балконе, можно было часами наслаждаться живительным морским воздухом и любоваться восхитительной панорамой, напоминавшего в миниатюре Неаполитанский, Гагринского залива и Пицундского мыса. Особенностью Гагр являлось то, что они были закрыты главным Кавказским хребтом, подходившим здесь к самому морю, от северных и восточных ветров, почему в них веяли только южные и западные теплые ветры. Такая изоляция от северных ветров и свирепствующего на Северном Кавказе „нордоста“ превращала Гагры в солнечную оранжерейку, в которой почти круглый год сохранялась мягкая и ровная температура.

Гагры не были городом и даже поселком, а только курортом, состоявшим из большого парка, обсаженного пальмами, Приморского бульвара и трех гостиниц — Временной, Новой и Приморской. Временная гостиница, хо-

тя и была построена „временно”, до возведения „Новой”, сохранила за собой первенство и являлась самой комфортабельной. Она была деревянной, трехэтажной, и в ней было более ста номеров. Крытый проход соединял ее со зданием ресторана, в двухсветном зале которого находилась сцена и эстрада для музыки. Новая гостиница — большое пятиэтажное каменное здание — находилась почти рядом с Временной, но особой популярностью у курортной публики не пользовалась. Самой старой и довольно примитивной была Приморская гостиница, расположенная в полуверсте от Временной, в старинной, построенной византийцами в V-м или VI-м веке, крепости. В той же крепости находилась самая старинная на Черноморском побережье церковь св. Ипатия, построенная также в шестом веке. Okolo крепости, у подножья горы, возвышался величественный дворец основателя Гагр — принца Александра Петровича Ольденбургского.

Путешествуя по Кавказу в конце девяностых годов, принц Ольденбургский случайно оказался в Гаграх, никому не известном до тех пор поселке, состоявшем из нескольких прилепившихся к старой крепости лачужек. Узкая прибрежная полоса Пицундского залива так понравилась принцу, что он приобрел от Удельного ведомства граничивший с крепостью участок, на котором и начал строить дворец. А вернувшись в Петербург, принц добился учреждения в Гаграх климатической станции, которую и принял под свое попечение. Тогда же была построена и первая в Гаграх Приморская гостиница.

Ежегодно приезжая в Гагры и проводя в своем дворце большую часть года, Александр Петрович стал строителем и настоящим хозяином Гагр. По его планам был разбит парк, проложен Приморский бульвар, построена Временная гостиница, ресторан и здание морских ванн. В верхнем этаже Временной гостиницы поместились и начала функционировать единственная в этом районе почтово-телеграфная контора. И вскоре Гагры стали местным административным центром.

Из Удельного ведомства Гагры были переданы Министерству Государственных Имуществ и стали управляться начальником климатической станции, пользовавшимся правами уездного начальника. Должность начальника Гагринской станции считалась завидной, и назначения в Гагры добивались отставные гвардейские офицеры

и даже имевшие придворное звание чиновники Министерства Двора. В описываемое время начальником Гагринской климатической станции был камергер Двора и отставной ротмистр л.-гв. Уланского Его В. полка — Кавелин. Но наблюдение за Гаграми осталось за принцем А. П. Ольденбургским.

Александр Петрович был высокий, плотный старик, сохранивший военную выправку. При Александре Втором он командовал л.-гв. Преображенским полком, затем — первой гвардейской пехотной дивизией и Гвардейским корпусом. Несмотря на преклонный возраст, принц обладал живым темпераментом и был чрезвычайно вспыльчив. Во время войны он был назначен Генералинспектором санитарной части и являлся грозой всех эвакуационных пунктов, полевых и тыловых госпиталей и лазаретов. Кипучая натура принца заставляла его носиться по всей России, затевать разные постройки и перестройки, вводить всякие совершенства и испытывать всевозможные котлы, холодильники, дезинфекционные камеры и т. п. Пользуясь почти неограниченными правами по санитарной части, он отдавал иногда невыполнимые приказы, и многие его распоряжения были совершенно сумбурные. И вскоре принца, как на фронте, так и в тылу, стали называть „Сумбур-пашей”. Страдая подагрой, Александр Петрович ходил, опираясь на палку, что не мешало ему, однако, так быстро бегать что сопровождавшие его при обходе госпиталей генералы еле за ним поспевали.

В медицине принц, конечно, ничего не понимал и все свое внимание обращал на чистоту и порядок во вверенных его попечению госпиталях. Врачи, сестры милосердия и санитары с трепетом ожидали „налетов” принца. „Сумбур-паша” вмешивался также и в хозяйственную часть госпиталей, проверял отпущенные на кухню продукты, пробовал пищу и даже составлял меню обедов и ужинов для больных. Он почему-то особенно верил в чудодейственную целебную силу сваренного на костях бульона, запрещая выкидывать кости и требуя, чтобы их вываривали не один, а два и даже три раза. И горе было тому повару, в помойном ведре которого принц обнаруживал несколько выброшенных костей.

В время инспекций „Сумбур-паша” носился, опираясь на свою палку, которой пользовался больше для

угроз и устрашения своих подданных, по коридорам и палатам, кухням и кладовым, распекая всех попадавшихся ему на глаза, угрожая послать на фронт нерадивых санитаров и посадить под арест не угодивших ему врачей. Вскоре, однако, персонал госпиталей и лазаретов привык к выходкам принца. А так как о предстоящих налетах принца лазареты предупреждали друг друга по „беспроволочному” телеграфу (через специальных курьеров), то вскоре „Сумбур-паша” перестал внушать страх и трепет своим подданным, тем более, что он никогда не при водил в исполнение своих угроз.

Я никогда не был подчиненным принца А. П. Ольденбургского и не испытал на себе его сумбурных выходок. Но я видел, как он наводил порядки в Гаграх, после чего служащие подтягивались и относились более внимательно к гостям. „Сумбур-паша” распекал не только низший персонал климатической станции. Однажды раненые офицеры были свидетелями того, как, преисполненный величием своего придворного звания, камергер Кавелин поспешно отступал перед поднятой палкой принца. Кавелин был очень смущен, а мы не скрывали своего злорадства, ибо надменность камергера нас уже давно раздражала.

Сын „Сумбур-пashi” — принц Петр Александрович Ольденбургский — совершенно не походил на своего отца. Я еще юношей познакомился с этим скромным, милым и симпатичным человеком, когда он командовал 14-й ротой л.-гв. Преображенского полка, в которой служил мой дядя В. Н. Бааранов. Позднее П. А. командовал л. гв. 4-м стрелковым Императорской фамилии батальоном и пользовался всеобщей любовью и симпатиями как офицеров, так и солдат. Петр Александрович был женат на сестре императора Николая Второго — вел. кн. Ольге Александровне. Брак этот оказался несчастливым: Ольга Александровна развелась с мужем и вышла вторично замуж за его адъютанта — ротмистра Куликовского. Летом принц П. А. Ольденбургский и вел. кн. Ольга Александровна проживали на даче в Петергофе, и я, уже офицером, несколько раз завтракал у них. Петр Александрович скончался несколько лет тому назад во Франции, оставив по себе самую лучшую память у современников.

Мечтой принца А. П. Ольденбургского было превра-

щение Гагр в мировой курорт. По его проекту должны были быть построены еще две гостиницы, курсал, новое здание морских ванн и порт, в который могли бы заходить самые большие пароходы. Но на осуществление таких грандиозных проектов нужны были огромные средства, которыми Министерство Государства имуществ не располагало. Поэтому принцу приходилось удовлетворяться достигнутыми еще до войны результатами.

„Сумбур-паша“ пользовался огромной популярностью у населявших окрестности Гагр абхазцев. Не только абхазцы, но и все окрестные жители были обязаны принцу своим материальным благополучием. Они поставляли для курорта и привозили для продажи „гостям“ баранов, дичь, вино, фрукты и свои кустарные изделия. Вскоре торговая жизнь Гагр так оживилась что в двух верстах от курорта вырос целый поселок „Новые Гагры“, население которого составляли абхазцы, грузины и предпримчивые армяне, открывшие в нем ряд духанов, кофеен и лавочек.

Обычно, как только абхазцы узнавали о приезде принца, они являлись к нему во дворец с поздравлениями и приносили подарки. Но однажды такой визит абхазцев кончился трагично, и принц не только не отблагодарил своих друзей, но выгнал их из дворца. Вот как это случилось:

Александр Петрович хотел устроить в Гаграх зоологический сад с аквариумом и террариумом. Но так как министерство не отпустило для этой цели необходимых средств, то принц сам приобрел несколько обезьян, которых и выпустил на свободу в окрестные леса. Он полагал, что обезьяны акклиматизируются в Гаграх, разплодятся и явятся своего рода атракционом для курортных гостей. Но принц упустил из виду, что проживавшие вокруг Гагр абхазцы — страстные охотники. Выпущенные в леса обезьяны вскоре были ими обнаружены и перебиты. Желая сделать удовольствие своему другу, абхазцы набили целый мешок застреленными обезьянами и принесли их в подарок принцу. Можно себе представить, в какое неистовство пришел „Сумбур-паша“ от такого подарка!

Я провел в Гаграх четыре чудных, незабвенных месяца. Внимательный уход врачей, теплые морские ванны, электризация, а главное — солнце и морской воздух —

так восстановили мое здоровье, что я уехал из Гагр, оставив в них мои кости. И я был далеко не единственным, получившим в Гаграх такое чудесное исцеление. Тяжело раненые в грудь офицеры, приехавшие на носилках, через полтора-два месяца уже гуляли по парку, быстро набирали силы и почти совершенно поправились.

„Сумбур-паша”, которого недолюбливали и боялись служащие климатической станции, проявлял большую заботу к лечившимся в Гаграх офицерам, и все мы были глубоко ему благодарны за эти заботы. Но еще большую благодарность (и не только раненых офицеров) чудаковатый принц заслужил за создание Гагр, за превращение дикого, никому до него неизвестного ущелья в цветущий сад и образцовый курорт, которому могли позавидовать лучшие курорты Французской Ривьеры.

41. НАКАНУНЕ

Лечившиеся в Гаграх офицеры числились в лазарете Государыни и состояли на учете Царскосельского эвакуационного пункта. Поэтому, по возвращении из Гагр, я должен был представиться Императрице.

Я был единственным, представлявшимся в этот день Государыне. Меня провели в знакомый мне будуар, где Александра Федоровна встретила меня стоя, посреди комнаты. Я видел в последний раз Александру Федоровну в 1914 году в Виленском госпитале и не мог не заметить, как состарилась она за эти два года. Протянув мне руку, Императрица осведомилась о моем здоровье, после чего начала говорить о Наследнике, который, вместе с Государем, находился тогда в Ставке. Торопившаяся обычно как можно скорее отделаться от мало знакомых людей, Александра Федоровна на этот раз не спешила закончить аудиенции. Она стала оживленно рассказывать, как проводит время в Ставке Алексей Николаевич и показала мне только что полученные из Могилева фотографии Государя, Наследника и их комнаты в губернаторском доме. Наконец она снова подала мне руку и отпустила, пожелав скорейшего выздоровления. Это была моя последняя встреча с покойной царицей.

Возвращением из Гагр, весной 1916 года, я заканчиваю мои воспоминания о том „добром старом време-

ни", которое не все вспоминают добром, но о котором жалеют многие. Через несколько месяцев произошли события, совершенно изменившие привычный уклад жизни в стране и в армии. Хотя революция явилась для большинства из нас совершенно неожиданной, но уже с первого года войны произошли такие резкие перемены в общественной и государственной жизни страны, что то доброе старое время, о котором я вспоминаю в этой книге, следует считать ушедшим в вечность задолго до революции.

Воспоминаниям о революции и событиях, которые мне пришлось пережить с 1917-го по 1921-й год, я посвящаю отдельный труд. Воспоминания эти настолько отличаются от переживаний юности и молодых лет моей жизни, что не могут быть помещены в одной книге.

В „Вечернем звоне” я описал старый русский быт, в котором, как я уже говорил, были не только светлые, но и темные стороны. Однако — пришедший на смену „старому режиму”, новый — коммунистический, оказался настолько жестоким и несправедливым, что затмил собой самые темные стороны описанного мною „потонувшего мира”. Поэтому, большинство россиян, волею или неволею покинувших родину, независимо от их состояния, национальности и вероисповедания, вспоминают доброе старое время с теплым чувством и сожелением.

Людей, родившихся и созревших в бывшей Российской империи, с каждым годом становится все меньше и меньше. Большинство рассеянных по всему свету соотечественников составляет молодое поколение, представляющее себе дореволюционную Россию либо по рассказам стариков, либо по иностранной и советской литературе. А литература эта часто грешит против действительности и не дает верного представления о многих сторонах старой русской жизни. Священным долгом оставшихся в живых свидетелей этого периода истории нашего отечества является ознакомление молодого русского поколения со всеми хорошими и плохими сторонами „старого режима”. Исполняя этот долг, я и написал свою книгу.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- АЛЕКСАНДР ВТОРОЙ, император — стр. 16.
АЛЕКСАНДР ТРЕТИЙ, император — стр. 8, 15.
АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА, императрица — стр. 126, 140, 148,
216.
АПРЕЛЕВ, камер-паж — стр. 124.
АРСЕНЬЕВ, фл. ад., полковник л. гв. Уланского п. — стр. 197.
БАРАНОВ Ник. Мих., ген. лейт., нижегородск. губерн. — стр. 9, 13,
16, 31.
БАРАНОВ Алексей Н., воен. врач — стр. 11.
БАРАНОВ Александр Н., ротмистр — стр. 11.
БАРАНОВ Влад. Ник., полковн. л. гв. Преображен. п. — стр. 11.
БАРАНОВИЧ, подполк, кр. З батар. 16 арт. бр — стр. 88.
БАРЫШНИКОВ. фабрикан — стр. 41.
БЕЛОСЕЛЬСКИЙ-БЕЛОЗЕРСКИЙ кн. С. А., сестры Е. В. ген. майор
стр. 195.
БЕЛЯЕВ, подпоручик 16 арт. бр. — стр. 87.
БЕРТЕЛЬС А. А., капитан, воспитатель Пажеск. корп. — стр. 70.
БЕРТХОЛЬД граф, австро-венг. посол — стр. 128,
БОГАЕВСКИЙ Афр.Петр., полковник ген. штаба — стр. 197,
БРУСИЛОВ А. А. старший, ген. лейт., нач. 2 гв. кав. див. — стр. 180,
БРУСИЛОВ А. А. мл., корнет л. гв. Конно-Грен. п. — стр. 148,
БУРАКОВ, подполк. 16 арт. бр. — стр. 88,
ВАЛУЕВ, камергер, нач. СП. Варшав. ж. д. — стр. 78,
ВАРЛАМОВ К. Н., артист императ. театров — стр. 29,
ВИТТЕ С. Ю., министр финансов — стр. 31,
ВИШНЕВСКИЙ, поручик 118 пех. Шуйского п. — стр. 106,
ВОЛЖИН, полковник, кр. 8 Оренб. каз. п. — стр. 105,
ВОНЛЯРЛЯРСКАЯ Ольга Вл. — стр. 193,
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, вел. кн. — стр. 75,
ВОРОНОВИЧ Мих. Парф., д. ст. сов., помещик — стр. 57.
ВОРИРША, немецкий генерал, кр. корпуса — стр. 205,
ВРАНГЕЛЬ барон П. Н., ротмистр л. гв. Конного п. — стр. 202.
ГАГАРИН кн., шт. кап. 16 арт. бр. — стр. 88,
ГЕННИНГС, ген. лейт., нач. 2 Сибир. стр. див. — стр. 204,
ГЕНДРИКОВ граф, обер-церемониймейстер — стр. 126,
ГЕССЕ, ген. ад., дворцовый комендант — стр. 32,
ГИЛЛЕНШМИДТ, ген. лейт., нач. 2 кав. див. — стр. 203,
ГОГИН, врач 16 арт. бр. — стр. 89.
ГОЛЬТОГЕР, флиг. ад., капитан л. гв. Преображен. п. — стр. 144,

- КОНДЕ-МАРКВОТТ-РЕНГАРТЕН, шт. кап. 16 арт. бр. — стр. 88.
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, вел. князь, ген-адм. — стр. 1ф.
КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ, вел. князь, Главный нач Военно-учебн. зав. — стр. 71, 132.
КОРЕНЕВ И. П., корнет л. гв. Конно-Грен. п. стр. 159.
КОРНИЛОВ Л. Г.. ген. шт. подполк. — стр. 81.
КОГОВСКИЙ, полковник 16 арт. бр. — стр. 88.
КРАМАРЕВ И. И., ротмистр л. гв. Конно-Грен. п. — стр. 201.
КУЛИКОВСКИЙ, ротмистр — стр. 214.
КУЛЬНЕВ Г. И., корнет л. гв. Конно-Грен. п. — стр. 148.
ЛАЗАРЕВ М. И., коннозаводчик — стр. 188.
ЛАЙМИНГ А. П., поручик л. гв. Конно-Грен. п. — стр. 158.
ЛАЙМИНГ Г. П., поручик л. гв. Конно-Грен. п. — стр. 205.
ЛИХАРЕВ, подполк. 16 арт. бр. — стр. 88.
ЛИЦМАН, немецкий генерал — стр. 204.
ЛОПУХИН Д. А., ген. майор, к-р л. гв. Конно-Грен. п. — стр. 194,
198, 201, 206.
ЛОПУХИН Н. Д., корнет л. гв. Конно-Грен. п. стр.— стр. 201.
МАКАРИЙ, епископ Нижегородский и Арзамасский — стр. 10.
МАКШЕЕВ, камер-паж — стр. 124.
МАЛАХОВСКИЙ, о. Виктор, священник л. гв. Конно-Грен. п. —
стр. 196, 207.
МАНТАШЕВ, коннозаводчик — стр. 189.
МАРИЯ ФЕДОРОВНА, императрица — стр. 8, 138.
МАРИЯ ПАВЛОВНА, вел. кн. — стр. 136.
МАСЛОВ, полковник л. гв. Уланского п. — стр. 198.
МЕНЖИНСКИЙ Руд. В., преподав. Пажеского корп. — стр. 70.
МИТРОФАНОВ, поручик 16 арт. бр. — стр. 87.
МУРАВЬЕВ, генерал, декабрист, Нижегород. губерн. — стр. 17.
НАВРОЦКИЙ Л. М., ротмистр л. гв. Конно-Грен. п. — стр. 184.
НАРЫШКИН, фл. ад., капитан л. гв. Преображен. п. — стр. 144.
НИКОЛАЙ ВТОРОЙ, император — стр. 8, 72, 131, 140, 158.
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, вел. кн., главноком. Петерб. в. о. —
стр. 145, 150, 186.
ОВСЕЕНКО-ПУШКАРЕНКО В. Д., повар — стр. 34.
ОВСЕЕНКО-ПУШКАРЕНКО М. С., помещник — стр. 34.
ОКУНЕВ, корнет л. гв. Конно-Грен. п. — стр. 206.
ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ принц, Ал. Петр. — стр. 214.
ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ принц, Петр Ал. — стр. 214.
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, вел. кн. — стр. 8, 214.
ОРЛОВ князь, фл. ад., полковник — стр. 145.
ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, вел. князь — стр. 136.
ПАДЕЙСКИЙ, шт. кап. 16 арт. бр. — стр. 87.

- ПАШКОВ, подпоруч. 16 арт. бр. — стр. 87.
 ПЕТРЖКЕВИЧ А. К., ротмистр л. гв. Конно-Грен. п. — стр. 157, 165,
 206.

ПЕТРОВО-СОЛОВОВО, свиты Е. В. ген. майор — стр. 144.
 ПЕТРИЧЕНКО, полк. 16 арт. бр. — стр. 86.
 ПЛЕВЕ фон, ген. от кав., командуюш. 5 армей — стр. 203.
 ПОБЕДОНОСЦЕВ К. П., обер-прокурор св. Синода — стр. 31.
 ПОЛЯНСКИЙ А. И., лаборант Пажеского корп. — стр. 123.
 ПОПОВ, адмирал — стр. 15.
 ПОПОВ Н. В., поручик л. гв. Конно-Грен. п. — стр. 201.
 ПОПОВ Мих. В., корнет л. гв. Конно-Грен. п. — стр. 159.
 ПОТЕХИН В. Ф., полковник, ротный к-р Пажеского корп. — стр. 73.
 РАУХ, ген. лейт., нач. 2 гв. кав. див. — стр. 197.
 РЕННЕНКАМПФ, ген. ад., к-щий 1-й армей — стр. 203.
 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, лейтенант — стр. 14.
 РООП В. Х., свиты Е. В. ген. майор, к-р л. гв. Конно-Грен. п. —
 стр. 148, 172.

РОТ, поручик гв. конной артиллерии — стр. 129.
 РЫСИН И. И., шт. кап. 16 арт. бр.
 САВИНА М. Г., арт. императ. театров — стр. 29.
 САВУРСКИЙ, капитан, адъютант Пажеского корп. — стр. 185.
 САПОЖКОВ, фабрикант — стр. 41.
 САХАРОВ, прапорщик 16 арт. бр. — стр. 89.
 СВЕНТИЦКИЙ, подполк. 16 арт. бр. — стр. 88.
 СЕМЕНОВ, шт. кап. 16 арт. бр. — стр. 88.
 СКОРОПАДСКИЙ, Свиты Е. В. ген. м., к-р л. гв. Кон. п. — стр. 198.
 СКУРАТОВ К. Н., шт. ротмистр л. гв. Конно-Грен. п. — стр. 165, 171.
 СТОЛЫПИН П. А., предс. совета министров — стр. 134.
 СТРЕЛЬСКАЯ, арт. императ. театров — стр. 29.
 ТАТИЩЕВ, свиты Е. В. ген. майор — стр. 144.
 ТАТИЩЕВ граф, Н. В.. камед-паж — стр. 124.
 ТРУБЕЦКОЙ князь, полк., к-р Сибир. каз. п. — стр. 105.
 ТРУБЕЦКОЙ П. кн., корнет л. гв. Уланского п. — 150.
 ТУШАР, адмирал, франц. посол — стр. 127.
 ФРЕДЕРИКС барон, министр Двора — стр. 144.
 ХАРЛАМПОВИЧ Н. И., прав. канц. архангел. губернат. — стр. 16.
 ЧАНСОЛИН, предводитель хунхузов — стр. 93.
 ШАБЛЫКИН, камергер, нижегор. губерн. предв. дворян. — стр. 10.
 ШАХНАЗАРОВ, полковн. 46 драг. Переясл. п. — стр. 83.
 ШАФИ ХАН, принц, к-р 46 драг. Переясл. п. — стр. 82.
 ШЕЙДЕМАН, ген. от кав., к-щий 2-й армей — стр. 203.
 ШЕПЕЛЕВ А. Д., ген. от артиллериин — стр. 76.
 ШЕПЕЛЕВ-ВОРОНОВИЧ А. М., ген. майор — стр. 56, 86.

ШИЛЬДЕР В. А., ген. майор, директор Пажеского корп. — стр. 72..
ШИШКИН, войск. старшина, нач. пеедов. отр. — стр. 105,
ШИЩМАРЕВ, кап. 2 ранга — стр. 12.
ШРАМЧЕНКО, камер-паж — стр. 124.
ШУЛЬЦ В. А., ротмистр л. гв. Конно-Грен п. — стр. 165.
ШУЛЬЦ Н. П., подполк., к-р 22 кон. арт. батареи — стр. 84.
ЭВЕРТ А. Е., ген. лейт., нач. штаба 1-й Манчж. армии — стр. 103
ЭКСЕ, поруч. л. гв. Кирасирского Ея В. п. — стр. 111.
ЭРДЕЛИ И. Г., н-к 2 гв. кав. дивизии, ген. лейт. — стр. 208.
ЯКИМОВИЧ-КОЖУХОВСКИЙ К. И., помещик — стр. 35.
ЯКОБСОН, шт. кап., нач. штаба передов. отр. 4 адм. корпуса —
стр. 106.

ЗАМЕЧЕННАЯ ОПЕЧАТКА И ПРОПУСК:

Стр. 159, 13-я строка сверху: напечатано НИКА ПОПОВ.
След. читать: МИФА ПОПОВ.
На той-же стр. пропущены след. строки: В эти-же дни
у наших соседей, лейб-улан, застрелился корнет
Сталь и тяжело ранил себя мой товарищ по корпусу
— корнет В. М. Ботьянов.

,ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН”

П р е д и с л о в и е	Стр.
1. Галерная улица	5
2. Нижний Новгород	9
3. Н. М. Баранов	13
4. Голод и холера	18
5. Фонтанка	22
6. С. Петербург	26
7. Всероссийская выставка	30
8. Залепеевка	34
9. Посад Клинцы	40
10. Черниговское Полесье	45
11. Зима в деревне	50
12. Киев	57
13. „Киевское Слово	63
14. Пажеский корпус	67
15. „Жамаанс”	72
16. Каникулы на паровозе	76
17. Плоцк на Висле	80
18. На войну	86
19. Хунхузы	92
20. Казнь	96
21. Побег	100
22. Голодная сопка	104
23. Перемирие	110
24. Солдатская вольница	115
25. Генерал от химии	120
26. Камер паж императрицы	124
27. Отмороженные уши	129
28. Царское Село	133
29. Император Николай Второй	140
30. Конно-Гренадеры	147

31. Петергоф	154
32. Чукчи	158
33. Грехи тяжкие	164
34. Четвероногие друзья	169
35. Поединок	177
36. Дело корнета Доне	181
37. Коломяги	187
38. Генерал Лопухин	194
39. Петроков	202
40. Сумбур-паша	209
41. Накануне	216
Алфавитный указатель имен	218

Цена — \$ 2.50
